

ЕЛЕНА КРЮКОВА

РАЙ



Елена Крюкова

Рай

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22816576

ISBN 9785448370748

Аннотация

Человек до рождения живет в Раю. А снаружи, может быть, ад. Закончилась страшная война. Женщина идет по мертвой земле. Она не одна: внутри нее живет тот, кто родится завтра. Выносить и родить жизнь – наперекор всему, всей бездне горя и мрака: вот задача и вот подвиг. Мы носим внутри нашу драгоценность – наш Рай. Это наша жизнь. Это жизнь нашей Земли. Это наша надежда на будущий мир.

Содержание

Возвращение в Рай	5
Месяц первый	16
Зачатие	16
Плод	31
После жизни	37
Месяц второй	78
Страх	78
Плод	92
Белка	101
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Рай

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7074-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Возвращение в Рай

Философский символически-метафорический роман Елены Крюковой «Рай» был опубликован в 2015 году в журнале «День и ночь», в этом же году вышел отдельной книгой в издательстве «Литео», и теперь увидел свет в издательстве «Ridero». В этом произведении писательница верна своей творческой манере изображать человека в экстремальных условиях, соединять условно-метафорическое и натуралистическое изображение, мир реальный и фантастически-символический. Автор ставит перед собой задачу показать явные и скрытые возможности человека, ценность его жизни и ее основные противоречия и парадоксы.

Символично и очень значимо заглавие романа, потенциально погружающее читателя в некое «идеальное пространство», где человек чувствует себя защищенным, свободным, окруженным прекрасным райским садом. Мотив рая, являющегося одновременно противоположностью и абмивалентной парой аду, повторяется почти в каждом произведении писателя. При этом намечено такое конкретное воплощение мотива: «райская песня» («райское пение»), «райская красота», «райское блаженство», «изгнание из рая». Последняя мифологема дала название роману Крюковой, вышедшему в свет в 2002 году. И хотя сюжет, и идея, и повествователь-

ная манера там принципиально отличны от романа «Рай», мы можем отметить, что обращение к образу рая, изображение жизни вне рая (где рай становится отправной точкой), являются концептуально значимыми для Елены Крюковой. Вместе с другими мотивами они возвращают нас к библейским образам, заставляя по-новому – с учетом страшного опыта XX века – посмотреть на природу человека, его силу и слабость, духовность и низменность, чистоту и грязь. В художественном мире писателя одно из основных чувств – тоска по раю. Причем традиционный мотив изгнания из рая трактуется писателем оригинально. Например, так: «Женщина всегда несет Адама на плечах. Вы знаете... ты знаешь, она сорвала яблоко и накормила его не потому, что змей ее совратил. Она хотела его просто накормить. Просто накормить, понимаешь?!» («Изгнание из Рая», Москва, «Центрполиграф», 2002).

В романах «Рай» и «Беллона» рай – это материнская утроба, защищающая только готовящегося появиться на свет человека от жестокости реальной жизни. Так, в «Беллоне» перед читателем воспроизводится воспоминание матери, желающей сохранить безопасность и спокойствие своего дитя: «Ты сидела и ворочалась у меня под сердцем, и я несла, я носила тебя, едва дыша, боялась грубо потревожить тебя, разбудить; ты спала, обмотанная до горла красными травками, мохнатым алым мхом, райскими розовыми водоросля-

ми, и тебе тепло было» («Беллона», Нижний Новгород, «Бегемот», 2014). В «Рае» открытие мира, напоминающего райский сад, впервые дано с точки зрения даже не ребёнка, а зародыша: «Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, стелются багровыми бархатными коврами под моим дрожащим животом тончайшие, нежные струны кровавых побегов».

Так, независимо от говорящего субъекта, в романах Елены Крюковой рай становится идеальным хронотопом, в котором человек обречен быть некоторое время («Девять месяцев? Девять веков? Девять эпох?») и из которого неизбежно будет изгнан. В романе предлагается авторская интерпретация библейского сюжета – появление жизни, основанной на любви и поддержке, из тьмы и хаоса. Здесь и развитие устойчивых языковых метафор и оборотов: «белый свет» (чаще всего палитра света – это различные оттенки белого и красного цветов), «свет в конце тоннеля» (сам процесс зачатия символически изображается как движение света: «Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нём всё мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шёлком, захлестнул ало-жёлтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал тёмным скорбным одиноким мужчиной и весь,

до конца, перетёк в женский огромный, счастливый, торжественный свет»), «Божий свет». В целом же свет и тьма составляют неразрывную амбивалентную целостность, которая и обеспечивает жизнь. Только осознавший собственную самостоятельность будущий ребёнок размышляет: «Неужели в мире есть только крошечная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в её жадном, жестоком, жутком ларце?»

Свет становится спасительным для главной героини, когда ей нужно было защититься от готовых растерзать её карликов. Благодаря случайно обнаруженной в кармане отцовской зажигалке героиня не только получила возможность бежать и тем спасти свою жизнь, но и пришла к важному выводу: «Всё на свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру – а этот огонь будет жить».

Амбивалентность света и тьмы становится основой не только зарождения жизни, но и её завершения. Так реализуется апокалиптический мотив взрыва, ставшего своего рода концом света, после которого герои потеряли и материальную, и нравственную основу: «Во тьме, под жаркими кожаными шорами дрожащих век, вспыхивала далёкая зарница. Слишком светлый шар. <...> Свет опережал звук, бежал быстрее гула. Световой шар разрастался стремительно, странный призрачный жар опалял лицо и руки. <...>

А из окон не будет раздаваться ни музыка, ни клёкот телепередач, ни хныканье младенцев, ни звонкий, вздохлёб, девичий смех».

При обилии реминисценций и аллюзий на Библию и библейские образы и мотивы, в романе преобладает не только и не столько христианское, сколько экзистенциально-архетипическое понимание природы человеческого бытия.

Карл Густав Юнг, основоположник теории архетипа в XX веке, указывает, что одним из аспектов архетипа матери является «цель страстного избавления (рай, Царство Божие, Небесный Иерусалим)» (К. Г. Юнг. Психологические аспекты архетипа матери. Москва, «Наука», 1996). Кроме того, представляется необходимым обратить внимание на такой вывод учёного: «Позитивный аспект первого типа, а именно, преувеличенное развитие материнского инстинкта, это как раз тот образ матери, который воспевался и почитался во все времена и на всех языках. Это та материнская любовь, которая принадлежит к самому что ни на есть умирительному и незабвенному воспоминанию повзрослевших седин, это – тайный корень всех начинаний и превращений, который составляет молчаливую праснову возвращений к родному очагу и поискам пристанища на чужбине, т. е. основу всяческого начала и конца» (К. Г. Юнг. Психологические аспекты архетипа матери. Москва, «Наука», 1996). Особенно активно это созидательное, преображающее начало проявляется в самом поведении главной героини, Руди, которая

ради сохранения жизни ребёнка, как следует из сюжета романа, – жизни вообще – идёт на различные мучения и унижения. В ней словно просыпается первобытный животный инстинкт самки, вынужденной защитить своего ещё не рожденного детёныша. Этот инстинкт в гораздо большей степени, чем инстинкт самосохранения, заставляет героиню бить и убивать. По контрасту с этим изображена вселенская доброта и любовь женщины, способной успокоить и приручить и хищника (волка), и обезумевшую толпу молодых головорезов.

Роман «Рай» написан в жанре антиутопии. Здесь главная героиня, Рудольфа Савенко, которую повествователь чаще называет Руди, проходит своё испытание раем – вынашивание ребёнка в опустевшем, озлобленном мире. В романе пересекаются, взаимно дополняя друг друга, две точки зрения – будущей матери и будущего ребёнка. С Руди читатель впервые знакомится в части текста, озаглавленной «После жизни».

Жизнь – и в момент её зарождения, и в процессе сохранения, и даже «после жизни» – представляет собой гамму совершенно противоречивых, сложных чувств и эмоций, чаще всего экзистенциальных: страх, вина, боль, сомнения. Первое чувство, которое осознаёт зародыш, – это чувство страха, контрастное потерянной радости (сравним: потерянный рай), по которой он символически тоскует: «Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость? Говорят, жизнь – радость.

Где моя жизнь?». Здесь, уже на первых страницах, впервые даётся толкование жизни, и связано оно с положительным чувством – чувством радости. Примечательно, что о радости изначально известно будущему человеку от чьего-то чужого общего мнения («говорят»), но это то сакральное знание и отношение к жизни, которое заложено в самый момент зарождения, и с этим человек проходит через всё своё существование, всё время задаётся вопросами: «Где моя радость? Где моя жизнь?». А в жизни, в самом начале, «боль и радость». Эти два чувства связывают близких людей, выражая их понимание друг друга, заботу и поддержку: «Мать старалась перелить в ребёнка все соки, всю радость, всё счастье. Снаружи боль — на тебе радость!».

Неизбежность боли и страха, их главенствующее влияние на поступки человека не должны вытеснить в человеке любовь и радость. И если в человеке есть жизнь (не только другого человека, как в материнской утробе), значит, в нём представлена вся гамма противоречивых чувств и эмоций, у него остаётся право и необходимость выбора. При этом первичная агрессивная реакция сменяется более осознанным стремлением к взаимодействию, а не сопротивлению другим.

Изначальная заданность этих противоположных и взаимодополняющих чувств, качеств и реакций определяет циклическую концепцию мира, которая преодолевает линейную идею конца и возвращает человека к истокам. В архети-

пическом контексте – к рождению как «изгнанию из рая», а в условно-метафорическом – к душевной гармонии. Цикличность изначально свойственна живому существу и проявляется с самого начала в сердечном ритме, подчинённом пульсации внешнего (для «червя» – материнского) мира: «... он отзывался на удары тьмы извне; одно биение тьмы – десять биений булавочного сердечка». Это ритмическое биение потом, после рождения, станет основой дыхания: «Вдыхать. Вбирать. Впускать. Не выпускать? Всё, что войдёт внутрь, выходит наружу. Есть только выход!».

Законам цикла, который необходимо пройти всякому человеку, соответствует принцип эволюции, воссозданный автором: червь – рыба – змея – птица – зверь – обезьяна – человек. С циклической концепцией времени как основы жизни связан и мотив воспоминаний, или, скорее – воспомина-ния: «Она так любила осень. Не она, а та женщина, похожая на неё»; «До неё дошло. Все забыли всё. И песни тоже». Случайно обнаруженные предметы: игрушки, ноты, иголка, фотография, лопата – и случайно услышанные слова рождали у Руди память о прошлой жизни, где эти предметы и слова имели значение. В той жизни, до того, как «она умерла», она радовалась Рождеству и музыке, у неё был отец – самый близкий человек, почти вытесненный из памяти, но в момент воспоминаний преображающий её жизнь. Гораздо явственнее и важнее воспоминания плода: «У зародыша рождалась память. Это было так непонятно, сумрачно, смутно.

<...> Возможно, он повторялся, и это зачатие было не первым в его судьбе; его зачинали другие отцы и вынашивали иные матери, и счастливо было заново биться булавочному сердечку, осознающему новую дорогу».

В контексте романа жизнь понимается как бесконечный цикл жизни, сменяемой смертью, и таким образом проявляющей новую жизнь. Вечна война, так как является воплощением постоянной борьбы рая и ада. Извечны страх и радость, окружающие человека. Всё начинается и заканчивается Океаном, воплощая архетипическое представление о воде как основе жизни: «Вода поможет тебе. Видишь, она ласковая. Она мать. Она всегда поймёт мать. Ты мать, и она мать».

Всё, что было и будет, по замыслу автора, постигается как вечная циклическая заданность, ценная в каждый момент бытия: «У них <...> нет жизни. Нет смерти. У них есть только одна минута. Вот этот миг. Лишь этот миг».

Жизнь, по Елене Крюковой, – постоянная борьба за существование и движение к смерти того, кто сумел победить и выжить в различных обстоятельствах: от самых обыденных до фантастических. Например: «Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слёзным маятником, терпеливо ждала его – единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер». Человечество неизменно движется к разрушению, преодолевая заданный закон жизни, убивая всё и всех на своём пути. Автор в антиутопии «Рай» словно предупреждает: если

не остановиться, не вернуться к истокам, возможен такой исход: «Человек уничтожил себя сам, а ужасаться содеянному было уже некому». Главная героиня романа, спасая свою жизнь и жизнь своего ребёнка, встречает разных людей: карликов, калеку, немого, прокажённую, обезображенных войной молодых мужчин. Их физическое уродство лишь отражение уродства внутреннего, ведь они ведут себя по отношению к другим более жестоко, чем звери. На их фоне чёрный кот и дикий волк оказываются более гуманными и человечными.

Но человек не может жить изолированно от других. Несмотря на то, что Руди стремится убежать, освободиться от этих встречных, для неё и – что важнее, для автора – эти встречи сулят одновременно и опасность, и надежду. Большинство встреч подтверждает: после взрыва, после жизни, после утраты человеческого каждый сосредоточен исключительно на своем физиологическом выживании.

Но последняя встреча в романе меняет общую тональность опустошённого мира. Встреча женщины и мужчины – Руди и неизвестного. Этот мужчина оплакивал своего ребёнка, и мир снова является в своей амбивалентности: «Вот я родила. А он – закопал. Чаши весов. Смерть, жизнь. Мы никогда не поймём, что оно всё значит».

Уделяя большое внимание низменной, животной, теневой стороне человеческой природы, Елена Крюкова заставляет читателя подняться над ней и через её осознание победить

её. Основа авторской концепции жизни в романе «Рай» – утверждение гуманности, любви и мудрости, отчасти данной от Бога, отчасти возвращённой самим человеком. Основная идея романа заключена в финале произведения:

«—Как ты думаешь, Земля оживёт после этой бойни?
– Это от нас зависит».

*Наталья Беляева, кандидат филологических наук,
Дальневосточный федеральный университет, Уссурийск*

Месяц первый

Зачатие

Я был двумя, и я был одним.

Разрезать тьму надвое тем, что у меня впереди.

Темный сгусток шевелится, колыхнется, буравит волглую, теплую туманную слизь. Густота вспыхивает искрами пустоты.

Провалы разверзаются внезапно и весело, и я ныряю в них, падая смешно и бесповоротно. Повернуть уже нельзя. Я знаю, что возврата нет, всей кожей, всей плотью, а если точнее, тем невидимым, дрожащим и бесплотным, слишком ярким, что хранится внутри меня; я знаю, что это, но не знаю этому имени.

Дрожит и плавится слепота. Зрение пробивается хилым ростком и тут же умирает. Я вижу лысой гладкой безглазой макушкой, а безумный рыбий хвост неистово бьет в плотный лед надвременного воздуха. Воздух слоится и плавится, и я, глухой, оглушен. Между мной и колышущейся пеленой торчат кости и когти, скрещиваются деревянные и железные надолбы. Чужая материя плачет и просит выхода из моей тюрьмы.

Разве я – тюрьма? Я свобода!

Свобода, ты лжешь мне. Ты лжешь себе. Я – не я, а то, что пытается быть мной. Прикидывается искусно. Я сам, настоящий и незримый, управляю движением своего узкого, как у океанского черного малька, крохотного как пылинки, скользкого тельца издали, сбоку и сверху; густое варево плотского жара, в котором я плыву и бьюсь отчаянно, вдруг разымается створками раковины, плоскими ладонями, а после ладони опять сдвигаются безжалостно, и вот я зажат между ними, и все плотней смыкаются они, и конец мне, я задохнусь и буду раздавлен.

Тишина! Красная тишина. Вынутые из мертвых рыб длинные прозрачные хорды выются, свиваются в тугие кольца, мерцают, пытаются обвить меня и задушить. Я ловко и стремительно проскальзываю сквозь них, а они загораются тусклым, гневным алым огнем, пламя лижет меня, я становлюсь узким, тонким, игольчатым, нитяным, почти невидимым. Но странные огромные глаза поворачиваются в широких и бездонных, как страшные ямы, чужих глазницах; глаза меня видят, они видят сквозь меня, видят мои потроха и мои кости, мое время и мое безвременье, а я хочу ускользнуть от них, и не выходит удрать, исчезнуть бесповоротно: меня найдут везде, где бы я ни спрятался.

Надо выбраться на поверхность. Не надо уходить в глубину. Меня заметили. Я присмотрен.

Я обречен.

Вперед, вперед. Комок влажного тепла, багряный сгусток

современной мокроты, красная медленная слеза. Это все я; я теку, и мое время обтекает меня, оно не течет вместе со мной, оно течет навстречу мне. Мохнатые хвощи расступаются и снова смыкают резные тонкие ветви у меня над юркой спиной. Плыть, плыть! Не останавливаться!

Чьи это хищные зубы, клыки, блестят за спиной?! Мой зрячий хвост видит все. Мое зрячее брюхо мелко, постыдно трясется – капля страха плывет рядом со мной, одним гребком подплывает ко мне, нагло налегает на меня, жарко вжимается в меня. Обнимает меня. Проникает в меня. Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость?! Говорят: жизнь – радость. Где моя жизнь?! Кровавая капля дрожит. Дрожит, не сдерживая боль и радость, мой слепой мозг, мои нелепые, торчащие серебряные плавники, мои перепончатые слабые пальцы, извивается тьма, не мной нареченная хвостом. Где перед, где зад? Я не знаю, убегаю я или прибегаю, жив я или уже умер. Все двигается! Болит! Бешено боится! Перламутром будущего дождя блестит выгиб крошечного бока. Внутри меня, под тончайшей пленкой оболочки, в сердцеvine прозрачной живой плазмы, перекачиваются шары будущих миров: кишки, печень, селезенка, сердце мира. Переплетенья артерий обкручивают одинокую аорту. Какой чудесный сон! Разве мир устроен так глупо и сложно, что его так просто убить, пока он еще не рожден?

Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, стелются багровыми бархатными коврами под моим дрожа-

щим животом тончайшие, нежные струны кровавых побегов. Кровь – вода, ее можно пить жабрами. Кровь – мое море, я плыву в нем, о да, я все понял: я никогда не утону, это мой страх навек утонет, когда я в волнах красного моря встречу с Единственной, что ждет.

Кто тебя ждет? Почему ты знаешь об этом? Ты ведь ничего не знаешь!

Нет. Я знаю все. Не меня выбрали; выбрал я. Я выбрал это чужое жаркое тело, этот полный слепо бьющейся крови живот для зачатия, но не совсем удачно.

Стены рушатся. Тучи несутся и рвутся. Горы сдвигаются, камни кричат, падая в пропасть. Но это все на воле, а я пока в тюрьме. Я за кровавой решеткой крепчайших сосудов. За крепко сложенной кладкой железных, каменных красных мышц, и древний красный кирпич непробиваем и несжигаем. Красный чугун, раскаленный металл. Это все обман. Они так хрупки, я порву их тем, что у меня впереди, моим живым и острым клином. Голова! Нет, это еще не голова. Руки? Их у меня нет. Ноги? Я превосходно обхожусь без них. За меня думает узкая скользкая спина. За меня бежит вперед и вверх моя длинная изгибистая плоть.

И прозрачный переливающийся, судорожно вздрагивающий, меняющий очертания шар – вдали, он катается в серебристом, сладком алом мареве, он ждет меня.

Счастье, когда тебя кто-то ждет.

Ожидание – воля. Движение – бессознательно. О нет, я сознаю каждый свой гребок, каждый рывок вверх и вперед. Вверх, все вверх и вверх.

Шар горит костром, вспыхивает желтыми, свечными и звездными огнями. Костер? Свечи? Звезды? Что это? Это все давно умерло. Это все умерло, не родившись. Этого нет и не было никогда. Есть только живой огненный, прозрачный насквозь шар, и он крутится в небытии и ждет тебя, а ты уже живешь.

Он упал и взмыл, перевернулся в горячем мареве раз, другой – невидимой играющей рыбой, безудержной веселой монадой. Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слезным маятником, терпеливо ждала его – единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер. День творенья, он запоминал его тонкой кожей, нежнейшей смертной шкуркой. Не бойся! Ничего никогда не бойся! Вот она, твоя цель, твоя мать, твоя жена, твоя любовь, твоя молитва, твоя планета, твоя вселенная! Думаешь, она пожрет тебя?! Вберет в себя без остатка? Поглотит? А разве ты сам не хочешь быть съеденным навек, а потом рожденным навсегда?

«Я не два, я одно», – услышал он глубоко внутри себя, в сплетении паутинных оранжевых жил, удар крови. Сдвоенный толчок: раз-два, и кончено. Слишком близко он уже подплыл к бесповоротному.

Что такое туда? Что такое обратно?

«Прошлого нет, и будущего тоже», – снова ударила изнутри в него, конечного, бесконечно струящаяся кровь, и он хотел остановиться, но уже не смог. Слишком разогнался; слишком взбесился. Красные пальмы и багряные лианы закрутились вокруг, пытались схватить, сцапать, туже стянуть петли. И вдруг расступились, будто кто сильный, громадный жадно протянул призрачные щупальца и одним махом разорвал тайное бешенство, сумеречный наплыв водорослевой, парчово-алой чащобы.

Пространство. Прозрачность. Окно. Воздух. Свет.

Пласты довременной воды сместились, соленый океан перестал колыхать безмерные, вольные волны. Он рванулся вперед и вверх, опять вперед и вверх. Прозрачное, слепящее оказалось слишком рядом. Наползло на глаза. Слепой головой он боднул свет, и оболочка света изогнулась, подаваясь, подчиняясь силе. Вот сейчас он разорвет пелену! Войдет внутрь!

Что такое снаружи, и что такое внутри? Сейчас он узнает это.

Вдвинуться еще. Еще глубже. Еще неистовей. Нажать еще, ударить. Прогнуть. Проколоть. Порвать!

Он ощутил, как то, чем он рьяно и слепо бил сеть света, до отказа натянуло тончайшую, ячеистую ткань; раздался неслышимый хруст, и голова окунулась в пустоту. Он не поверил себе. Вдвинулся глубже.

Пустота молчала. Пустота вбирала его, втягивала, всасывала. Он на миг испугался – это капля последнего страха напоследок разлилась внутри него сладким бешеным ядом, расстилая красный ковер ему под слепые глаза и глухие уши, под призрачные плавники и под счастливо дрожащий, пустой живот. Живот без потрохов. Череп без мысли. Одно лишь чувство. Удары молнии: вот! Есть! Удача!

Вперед. Вперед! Он весь, всем тщедушным тельцем, до конца, от головы до хвоста, от рожденья до смерти, втиснулся в круг счастья, в шар света. Прозрачная жидкость внутри шара обняла его и затопила. Он судорожно ловил свою выскальзывающую из головы и крови, из-под кожи и из зачатка дыханья, жизнь: умру! Умираю! Тону! Разеваю рот! Вглотну свет, а сам, обманутый, стану тьмой! – но жизнь яркой молнией обвилась вокруг него и острым гарпуном вошла точно в его затылок, в то секретное, святое место, что он, крутясь в водоворотах чужой крови и слизи, так лелеял и берег.

И он, насаженный на острие сиянья, забился в отчаянии, а отчаяние внезапно превратилось в боль, а боль стала сладостью, а сладость стала верой, а вера стала чужим огнем, а огонь потек по его нутру, а его плоть, сотрясаясь, то колыхаясь мелко и жадно, то шевелясь в крупных, медленных как беспмятство содроганьях, обратилась в проколовший его насквозь свет.

И он, не веря себе, шепнул ртом, которого у него еще

не было, слово, которое он еще не знал: «Свет!»

Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нем все мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шелком, захлестнул ало-желтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал темным скорбным одиноким мужчиной и весь, до конца, перетек в женский огромный, счастливый торжественный свет.

И перестал быть одиноким.

Не два? Уже не два? Одно?!

Рыба метнулась, ударила колючим носом, растопырила жабры. Плавник стал лучом и пронзил густую мглу. Снег пошел сначала медленно, нежно, потом повалил, потом закрутился, заплелся в неистовые, дикие синие вихри метели. Красная морда хищника вылезла из-под схлеста темно-вишневых и жгуче-кумачовых хвощей; золото посылалось из прищуренных жестоких глаз, зубы ждали добычи. Деревья рушились, тяжелые стволы падали справа и слева, слепо валились, задавливали черной тяжестью, брали в плен предсмертья. Кости хрустели. Дышать нельзя было, и то вдвоенное, чем стал он один, все равно дышало – всей нежной прозрачной эфемерной кожей: кожицей винограда, си-

зым налетом сливы, пушком персика, черно-зеленой лимфой смородины. Раскрывались легкие, раздваивался воздух: раз-два, раз-два. Раз, другой, третий, вот и вход в бесконечность. Бесконечность? Что такое? Ее можно почувствовать. О ней можно заплакать, ведь она недостижима. Ты будешь жить вечно?

Я? Я буду жить вечно?!

Я же еще не живу!

Нет, ты уже живешь.

Зацепиться. Вцепиться. Вклеиться.

Внедриться. Втиснуться. Вползти.

Ты внутри? Да, я уже внутри.

Ты во мне? Да, я уже в тебе.

Я в ней? Да, в ней, ты же сам об этом знаешь.

Назад хода нет. Ты хочешь попятиться – и не можешь. Ты хочешь опять стать собой – нет, тебя со всех сторон обхватило чужое тепло, и ты уже растворяешься, врастаешь, таешь, таешь.

Я растворюсь! Да, от тебя не останется ничего. Готовься.

Я никогда больше не буду тем, кем я был?!

Да, ты никогда не станешь, кем был. И ты станешь тем, кем назначен стать.

А кем я стану?! Кем?!

Ты хочешь это знать здесь и сейчас? Ты же не знаешь, что значит знать!

Страх невозвратности скрутил, выжал, выгнул, возжег. Тело разрывалось, ткани расслаивались и кровоточили. Мягкий хрящ хребта трещал, ломаясь, лохматые рваные края вздрагивали, пульсировали, мигали красными огнями.

Он сделал последнюю попытку повернуть искалеченное тело обратно. Напрасно! Не было того, что впереди; и исчезло то, что было сзади. Пустота, ставшая плотной бездыханной густотой, непроглядной тьмой, без искры, без молнии, без затаенной далекой зарницы, обняла со всех сторон.

Он отчаянно забился, стремясь превратиться в себя прежнего, снова стать стремлением и упорством, погоней и страстью, – а все движения стали недвижимым молчаньем; все скольженья – бесстрастным, великим покоем.

Я остановился. Я больше не бегу никуда. Меня нет.

Я остановилась. Я обняла тебя. Я поглотила тебя. Не рвись. Не плачь. Ты умер. Но ты возродишься. Вот теперь. Сейчас.

Сизо, розово, ледяно мигнула подслеповатым глазом оторвавшаяся от дышащего пергамента круглая чешуя, бедная монета. Падала, летела сначала ввысь, потом вниз, в бездну. Верх и низ свободно и спокойно поменялись местами. Узкое, быстрое, длиннохвостое, хитро ныряющее тельце слилось, любовно и неразъемно, с шаровидной монадой, то и де-

ло меняющей форму и объем: то больше, то меньше, то раздуется, то опадет, то увеличится опять, набухнет светлым соком, ненароком порвется жалкая, нищая, непрочная оболочка, и в соленый красный океан брызнет живое последнее золото. Разве нищета – это не богатство? Разве последний – это не первый?

Обнявшись, став друг другом, они, соединенные теперь уже навсегда, плыли в густой соли, в лучистом молоке, в темно-алом отваре жизней, бывших когда-то и надвигающихся из пропастей времен, из ущелий столетий. Они кувыркались и кружились, прочерчивали внутри багряной толщи золотой яркий след, и за следом тянулись, клонились, обвивали источающийся призрак света красные вьюны, красные мхи, красные ламинарии. Мир красный! Мир сияющий! Ставшие одним, они жили теперь одной жизнью и проживали одну жизнь: и все их внутренности были видны на просвет, все до единой, и все их будущие мысли видны, и будущие слезы, и будущее отчаяние. Летим вперед и вверх! Вперед и верх! Где наш дом? Нет у нас дома. Где наше пристанище? Нет его у нас. Мы вечные путешественники. Мы катимся по красной дороге крови, купаемся в красных струях, и тот, кто держит нас внутри, в красной горячей влаге, еще не чувствует нас.

Тот? Или та?

Может быть, бог – это женщина?

Два тела, мужское и женское, бились и сплетались, сквозь

разорванную серую и грязную одежду просвечивала белизна. Тесто взошло и опало. Поднималось опять. Грязные раскаленные кирпичи печи медленно остывали. Мужчина уже долго был в женщине, и все никак не мог добраться до последнего сдавленного крика, до последнего мгновенья, за которое не жалко и жизнь отдать. Тем более, что жизни у них у всех уже отобрали силой, разом, бесповоротно. Длинное и жесткое грубо и нетерпеливо вонзилось в мокрое, кровавое и разверстое, колотилось о стенки, о горячее сладкое дно. Вспоротая лютой болью плоть женщины все сильнее, жарче сжимала жесткую мотыгу мужчины – так потный кулак сжимает сломанную на ходу ветку. Войти и выйти, войти и выйти, да, вот так, и еще так, и еще.

Горячее сомкнулось с горячим. Мужчина все еще не выпускал наружу свое семя; не мог или не хотел? Женщина извивалась под ним, ее тонкое тело превратилось в скользкое, долгое туловище хитрой змеи, и обе руки змеями ползали по спине мужчины, сминая и задирая рубаху, жестоко карябая ногтями кожу над ребрами и лопатками.

А два горячих маленьких умалишенных тела, срамные придатки тел важных и больших, уже давно слиплись двумя кусками теплой глины. Они, дергаясь и скользя, приняли форму друг друга – круглое стало длинным, как время, длинное раздулось, соперничая с планетами и звездами. Оба были залиты слепой густою кровью, но им это уже было все равно. Соединяясь и бешено вращаясь, маленькие тела по-

нимали: сейчас, вот сейчас они сомкнутся совсем, спаяются, сольются, и тогда уже не понять будет, кто первый из них родит свет – они оба набухли, набрякли светом, свет рвался изо всех пор, свет застилал все черные страшные дыры.

Неужели в мире есть только крошечная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в ее жадном, жестоком, жутком ларце?

Влажный шар чуть приоткрылся, и темя наглой, безумной кометы немедленно проскользнуло в подобие отверстия. Живые зубы мрака жадно и нежно прикусили полоумно катящийся небесный желток, пытающийся раздвинуть, разорвать шелковую соленую завесу. Тесно переплетшиеся змеи крутились колесом, целовались, убивая. Смерть мерцала слишком близко. Ее можно было увидеть, погладить ладонью, прикоснуться к ней щекой, животом.

Женщина изогнулась слишком сумасшедше, искрутилась похлеще циркачки: вывернулась наизнанку чулком, образовала вместе с хрипящим на ней человеком живую ленту Мебиуса. И тогда внутри маленькой наглой золотой рыбы, все бьющей и бьющей острой головой в кровавый бубен вечной тьмы внизу женского живота, оборвалась крепкая невидимая нить, удерживающая жидкость жизни. Взрыв выбухнул, порвал кожаные постромки и петли синих и алых сосудов; лава потекла радостно и освобожденно, вместе с гулким и звонким, потом страждущим, хриплым криком из расширившейся в торжествующей судороге глотки.

Вулкан жил. Он жил всего миг, другой, а женщине каза-

лось – огненная река текла целую вечность. Мужчина не сознавал ничего. Он дрожал, кричал и рыдал. Весь перелился в то слепое и яростное, что сладко вырывалось из него, щедро вливалось в защищенную сильными ногами и мощным, бугрящимся животом женскую ненасытную яму. Он думал – он изрыгнул целый горящий мир; а на деле он теснее и беспомощнее, будто малый ребенок, ищущий защиты, прижался к женщине, живот к животу, и выплеснул внутрь ее темного, горького лона всего лишь маленький глоток несчастной, вкуса моря, жалкой серой слизи.

Он не знал, какая тяжкая работа сейчас начнет совершаться в той, в кого он так стремился ворваться, на ком так резво и рьяно танцевал, то ли ламбаду, то ли качучу, то ли безумное танго. Он ничего не знал; только потел и пыхтел, и продолжал двигаться, все медленнее и ленивее, все сонливее, опьяняясь затихающим извержением, застывая в забвении. Вулкан заворчал и потух. Еще дрожали окрестные горы. Еще дымился кратер. Уходила, утекала внутрь испепеленной земли алая, золотая лава. Вспыхивали костры. Гасли огни. Истаивали крики и стоны. Все умирало. Растворялось в умиротворении. В горечи сожаленья. В легкой улыбке запоздалой радости. Полуулыбка, полуплач – он так и не понял, что изогнуло, искривило искусанные губы женщины, раскинувшей под ним руки и ноги, широко расставившей колени, колышущей его на мягком пьяном, податливом животе, как в насквозь прогретой насмешливым солнцем старой лодке.

Два тела, всего лишь два тела. Они снова стали двумя. Все обман, что двое в любви станут одним. Никогда. Этого не может быть никогда.

Мужчина скатился с женщины, откатился в сторону. Даже не поцеловал, не приласкал ее. Отвернул темное небритое лицо. Смотрел в стену: потеки дождя, разводы сырости. И женщина сейчас разведет сырость. Заплачет, как пить дать. Этого не надо видеть. И ее не надо утешать. Надо встать, обтереть от крови свое увядшее, опалое оружие, натянуть штаны, застегнуть ширинку, пригладить мокрыми ладонями волосы. И, не глядя на нее, молча лежащую на полу, выйти – а выход, гляди-ка, настежь открыт, дверь сорвало с петель, двери нет, а есть дыра, отверстие прямо во мрак.

Плод

Прошло два дня. Крохотная ягода разрасталась.

Она прочно и плотно прицепилась, прилипла к липкой, ритмично бьющейся красной полости; внутренность живого сосуда то сжималась, то разжималась, и живая ягода двигалась вместе с ней.

Стенка матки была теплой, слишком теплой, горячей. Ягоду зародыша обжигала поверхность невидимой печи. Она хотела оторваться и полететь в свободе и просторе – matka держала ее крепко, цепко. Или сама ягода, еще неспелая, несмелая, изо всех сил держалась за то, что было ее единственным и вечным домом?

Ягода росла и росла, и ровно через неделю превратилась в огромную алую малину. Она тихо вспыхивала в красной тьме, мерцала кровавой звездой. Что билось, шевелилось у нее внутри?

Зародыш чувствовал себя и не чувствовал себя. Он не видел и не слышал себя; он рос и рос, у него было сейчас одно неотложное дело – расти. Но совершалась еще одна работа, и неподвластно чувству было первое биение сгущенной плоти величиной с булавочную головку; нельзя было поверить в то, что это будущее сердце – слишком мал был красный дрожащий сгусток, слишком робко он бился в нежное нутро теплой ягоды.

И все же это было сердце. Такое, какого никто из живущих никогда не видел; и никто из умерших уже не ощущал. Бие-ние прасердца. Стук между двумя перегородками – небытием и преджизнью. Что вначале? Вот это шевеленье, похожее на вздох после плача, на дрожь крыла мухи, стрекозы?

А эти тончайшие алые нити? Зачем они вьются, перевиваются внутри набухшей новой спелостью ягоды, зачем сплетаются и расплетаются, ветвятся красным узорочьем, диковинными листьями красной полыни и багряного чабреца? А, это первые сосуды, несущие великую кровь! Так вот какие они! Их и в лупу нельзя рассмотреть, и даже в микроскоп. Что есть мельчайшее, что есть самомалейшее? Вот оно – эта нежная полая алая трубка, и по ней, о чудо, уже течет кровь!

Твоя кровь. Твоя драгоценная, страстная, нежная, горькая кровь, человек.

Время гонит по артериям и венам кровь; оно будет гнать ее, но погоди, это все будет чуть позже. Сегодня время медлит. Оно любит твоем рожденным кровообращением; оно затаило дыханье, твое время – оно следит за тобой, за бегом крови по красной паутине, по карминным прожилкам. Омойвай, первая кровь, винную ягоду. Она слишком сладка для того, чтобы ей упасть. И ее не съест никто. Не сорвет. Не растопчет. Она лежит внутри прочной кастрюли. Крепче женского живота нет ничего. Самый надежный, мощный дом. Его никто не разбомбит. Не расстреляет в упор.

Растет, растет ягода, и вырастает из нее еще одна; тихо,

тише, это появляется голова. То, чем ты будешь потом, позже, мыслить. Ты еще мыслишь не головой, зародыш. Ты мыслишь призраком крови и намеком на сердце, тенью печени и бабочкиными крыльями прозрачных легких. Но головка твоя становится все больше и больше; то, что внутри нее, под тонкой, тоньше шелка или марли, оболочкой растет стремительно, неумолимо, быстрее всего остального.

О, какая странная, пугающая морда! Отвернись. Не смотри. Это животное, погибшее на земле в забытой тьме, до времени. Живые его уже не увидят никогда; ты, рептилия, видишь сама себя в красном, слепом зеркале собственной крови. И ты улыбаешься себе, беззубо и умоляюще.

А глаза на довременной морде стоят не рядом, не близко — они широко расставлены, торчат по бокам головы, и они закрыты; навсегда сомкнуты веки, видевшие то, чего ты, будущий, не увидишь никогда.

Что видишь? Каких диковинных зверей, какие гигантские папоротники? Какие зеленые, алые волны, набегающие на синий берег? Не болит ли у тебя нежный маленький хвост?

Голова и хвост.

Зародыш был слишком похож на того, кто родил его.

Тот, кто достиг цели и перелил в зародыш всю жажду жизни, всю первобытную любовь, на какую был способен и к какой призван, после зачатия жил совсем недолго: всего че-

тыре или пять веков, и они на глазах превратились в четыре или пять дней. Матка раскрылась щедрым полым котлом, и стремительно летящий живчик все-таки нашел в котле пустой вселенной одну планету, и, ракетой ворвавшись, поджег ужасом и захлебом жизни ее воздух, землю и небо. Передать все символы-знаки любви! Все иероглифы тайных жгучих генов! Хромосомы взыграли и затанцевали, и женское яйцо, весело катясь в красном горячем океане, бесстрашно встретило посланца иного мира. Вот так, обнимитесь еще крепче! Не разделяйтесь! Не разлучайтесь никогда.

Сгиньте в огне. Огонь родит вас снова.

Кто ты сейчас, славная кроха? Ты мальчик или девочка? Бог весть. Да это и неважно. Желток сверху, белок внутри – яйцо наоборот, и вся жизнь вверх тормашками. Ты зависишь в красном киселе вверх хвостом, и это очень весело; ты сама яйцо без скорлупы, ягода без корзинки, свеча без подсвечника. Ты все это увидишь потом, на земле, если родишься.

Если – умрешь.

Ведь ты не хочешь родиться. Ни одна хромосома, ни одна дрожащая молекула внутри тебя не хочет; так хорошо в теплом океане, в прозрачном алом бульоне. Варись, ты никогда не сварись. Куда плывешь? Что ищешь? Вот твоя пристань. Тебе уже никуда не надо плыть.

Красный океан – вот твоя земля.

Плыви в нем. Люби его. Он не предаст. Не подведет.

Зародыш висел в невесомости, и его мудрая кровь омывала и целовала внутри него будущую печень, будущие легкие, будущие почки. Крошечный хвост время от времени двигался туда-сюда, выражая довольство или недовольство; но жизнь определенно нравилась ему, и высшим счастьем было – застыть в неведении, во сне, в оцепенении. Со стенок матки сползала нежнейшая, как воск или сливки, слизь, она обволакивала зародыш, он растворялся в мягкости и ласке, и он видел первые сны.

На что эти сны были похожи? Малютка не знал мира, и не впечатления обнимали и обвивали его, унося в заповедь. Сны шли наплывами сиянья, веерами лучей; лучи набегали друг на друга и восставали вверх ослепительными стрелами, свеченье трепетало, истаивало и вновь разгоралось, и в скрещении сполохов возникали первые видения. Головка зародыша, его сердечко ловили их, – так паук, сплетши паутину, улавливает в нее мелких мушек и мошек. Искры и фигуры. Пятна и жженья. Линии и стрелы. Круги, шары, молнии, грозы. И вдруг – покой, и сияние обматывается вокруг огромным прозрачным, шевелящимся пологом, взвивается флагом!

А за спиной у тебя – нежная, легкая, острая боль: это рождается то, что станет потом твоим спинным хребтом, столбом позвоночника, держателем прямой твоей, гордой походки.

Перетерпи. Боль мгновенно превратится в радость.

Тебя заливают радость. Она слишком нежна и невесома, чтобы ее возненавидеть. Чтобы ее покинуть.

Ты никогда не покинешь свой теплый красный дом. Свою жизнь.

Легкие хотят вдохнуть. Хотят расправиться. Но вокруг жидкость; вокруг океан. Ты никогда не уйдешь из океана. Живительная слизь уже полностью обволокла, обняла тебя. Ты в сладком плену. Тебе хорошо.

Ты заблудился в кроветворном, кровеносном лесу; то, что время спустя станет плацентой, уже качает тебя в неразъемных объятиях, на алых ветвях, на скользких стеблях. В тебя медленно, плавно перетекают соки, дающие счастье. Счастье – это время. Твое время. Оно уже идет. И ты не в силах его остановить.

После жизни

Она шла по дороге одна. На ее ногах ее была дырявая ветхая обувь – значит, ей еще повезло.

Если у тебя есть башмаки или сапоги, ты спасен. Ты можешь идти вперед.

Босиком, понятно, тоже можно идти; но далеко не уйдешь. Изранишь ноги в кровь, изрежешь мелкими осколками стекл.

В дыры мужских, не по размеру, башмаков высывались пальцы. Сиротки-пальцы, выглянули из окошка, хотят увидеть милый мир.

А разве мир есть? Его же нет. Его же уже нет.

Женщина шла, медленно переставляя ноги, и мучительно вспоминала, как ее зовут. Вспомнила. Ее губы искривила странная улыбка. Так улыбались раньше, в другой, забытой жизни, призраки в страшных сказках или в жутких фильмах.

Женщина не думала, куда она идет, зачем. Она теперь редко когда думала. Больше чувствовала: небогатый набор оставшихся в живых чувств заменял ей вспышку догадки или тяжесть долгого, длинного размышления. Она ловила себя на том, что забывает слова, забывает, как называется дерево, как зовется валяющийся в пыли, на дороге, изломанный домашний инструмент.

Мир расстилался перед ней пустыней, хотя мир был еще

населен, еще смотрел из-за сухих придорожных кустов настороженными, враждебными глазами, еще звучал далекими выстрелами или приглушенными, гаснущими в тумане полей или между крошащихся на ветру руин, сдавленными криками. Люди или звери кричали? Женщина не знала. Она прошептала себе сухими губами: «Я Руди», – сделала шаг, другой, споткнулась о коварную железяку, не заметную в густой серой пыли, больно оцарапав большой палец, и поняла, что она очень хочет пить.

«Разве мертвецы хотят пить?» – удивленно спросила она себя, и ответа не нашла.

Совсем недавно ее звали Рудольфа Савенко, и у нее была профессия, какая – она забыла; и у нее был дом, и она забыла, какой он был величины, и какая утварь находилась в нем; она попыталась выбросить из головы малейшие остатки памяти о прежней жизни, ведь прежней жизни больше не было.

Ну хорошо. Прежней жизни больше нет. А что же у тебя было до этой жизни?

Она нарочно убивала в себе мысль, чтобы не думать об этом, и вот убила. Но иногда сквозь слепой плотный туман просвечивал слабый огонь, вспыхивали отблески пожара. Она морщила лоб, закрывала глаза и садилась прямо на дорогу, в пыль. Перед глазами возникало то, что никак не могло быть правдой. И она бормотала растрескавшимися, пропыленными губами: «Этого не было, не было никогда. То, что со мной творится, сон, и я сейчас проснусь».

Во тьме, под жаркими кожаными шорами дрожащих век, вспыхивала далекая зарница. Слишком светлый шар. Женщина, похожая на нее, тогда приподнялась с кровати; босыми ногами прошлепала к окну и подняла штору. Очень далеко поднимался, стеной вставал гул. Свет опережал звук, бежал быстрее гула. Световой шар разрастался стремительно, странный призрачный жар опалял лицо и руки. Женщина не слышала, что кричали домашние. И были ли они у нее? Родные люди, прирученные зверьки? За спиной раздавались невнятные панические возгласы. Крики ужаса. Да, кажется, кто-то вопил: «Руди! Руди! Не смотри! Ослепнешь!» А кто-то рядом визжал: «Бежим! Прячьтесь!»

Одно, два, три, четыре людских тела выметнулись вон из дома. Кто-то успел надеть обувку; кто-то вылетел на улицу босой, и это было самым плохим. Босой человек не пройдет по раскаленной, пыльной, засыпанной осколками и заваленной прутьями арматуры дороге и десяти метров.

А из окон не будет раздаваться ни музыка, ни клекот телепередач, ни хныканья младенцев, ни звонкий, взхлеб, девичий смех. Ничего. Молчание.

Но это все еще только будет. А тогда, в ту ночь, надо было просто бежать, и она бежала.

Как и когда похожая на нее женщина потеряла из виду родных? Она оглядывалась, звала – молчание смеялось над ней беззубыми ртами выбитых дверей, пустых оконных глазниц. Она обводила взглядом дома, пока бежала по улице –

у нее было чувство, что все уже исчезли, канули в далекий жгучий свет, в бешеный шар огня, а она бежит тут одна, совсем одна. Это было обманчивое впечатление: когда она выбежала из поселка, она поняла, что людей много, но что далеко они все не уйдут.

«И я тоже далеко не ушла. Хотя нет, я все еще иду. Где я теперь?»

Боль в сбитом пальце усиливалась; Руди села на поваленное дерево при дороге, согнулась, сгорбилась, сняла неуклюжий мужской башмак и подтащила руками голую ступню ближе к лицу, пытаясь рассмотреть рану. В пыль капала густая темная кровь. Руди беспомощно оглянулась. Осень, вон листья валяются на земле, целый толстый ковер сухих листьев. Это твоя вата и твои бинты. Воспользуйся ими.

Она так любила осень. Не она, а та женщина, похожая на нее.

Она цапнула неловкими пальцами два, три кленовых листа. Грязные нестриженные ногти, цыпки от холода, кожа как наждак. С отвращением она глядела на свои руки. И на свои ноги. Одна в башмаке, другая без. Внезапно ее обнаженная нога показалась ей беззащитным, лишенным шерсти, пойманным в капкан зверем; Руди наклонилась ниже и, пугаясь собственной слезной жалости, погладила свою ногу, как гладят умирающую кошку, больную собаку.

«Что со мной? Я схожу с ума. Да у меня уже и ума-то не осталось, не с чего сходить».

Она плюнула на кленовый лист, растерла слюну, плотно обвязала листом ранку, снова втиснула ногу в башмак. Встала, покачалась. Больно, но терпимо. Сейчас терпеть придется все. Все, что еще может произойти с тобой.

«А разве раньше не надо было терпеть? Разве вся жизнь – это не терпение и смирение?»

Она медленно переставила ногу, приставила к ней другую. Шаг, еще шаг. И еще один. Приставлять ногу к ноге – как все просто.

Она думала, что она стоит, а она уже шла.

Что-то давило на ее спину, между лопаток. А, это рюкзак, и в нем еда, догадалась Руди. Кто нацепил на нее рюкзак? Где она добыла пищу? Она забыла. А может быть, ей не давали это вспомнить. Иногда, когда она хотела вспомнить что-то из того, что было до жизни, вернее, до смерти, на нее обрушивалась сверху будто стая зубастых, визжащих летучих мышей, и эта темная клекочущая стая выбивала, выдирала у нее из головы клочки, шматки уже ненужных мыслей.

На самом деле рюкзак подхватила она сама, когда, в отупении первого отчаяния, пробежала мимо разрушенной продуктовой лавки: обезумевшие люди растаскивали провизию, торопливо толкали в сумки, мешки, чемоданы коробки и банки, крупу и муку. Руди не знала, кому принадлежал сиротливо валявшийся в стороне рюкзак с консервами. Она подцепила его за ремни и бессильно поволокла за собой. Может быть, она его у кого-то украла. Уже неважно.

Оттащив рюкзак от разгромленной лавки, она присела на землю и взгромоздила его себе на плечи. Она никогда еще не таскала в жизни такую тяжесть. Это в жизни; а после смерти все возможно.

А сейчас еда – вот она, за спиной. Давит на лопатки. В лицо летит холод. По щекам бьет холодный ветер. Скоро наступит зима. Уже первые морозы схватывают землю по утрам ледяными цепкими когтями. В рюкзаке еще есть нож. Это к счастью. Куда она идет?

Руди, куда ты идешь?

Ни карты с собой. Ни попутчика. Ни встречного, кого можно спросить: далеко ли до океана?

Почему-то ей грезился океан. Огромный, серо-зеленый, цвета лягушачьей спинки. Северный, ледяной, суровый старик океан. А может, теплый, добрый. Масса воды, колыхающейся туда-сюда, держащей на гигантской выгнутой под солнцем, жестяно блестящей ладони корабли и лодки, весело плывущих и в ужасе тонущих людей.

И почему-то ей казалось: если она выйдет к океану, она спасется.

«Может быть, остались еще корабли. Может, лодку найду. Уплыву. Туда, где еще есть жизнь».

Есть не хотелось. Хотелось пить. Если судьба сжалилась над ней и наградила ее дармовою жратвой, то питье ей приходилось добывать самой. Летом это были реки и ручьи, краны в разрушенных домах, даже лужи после дождя – она

не думала, отравленная это вода или нет: все было отравленным, и поздно было сохранять здоровье и соблюдать правила гигиены. Она вставала перед лужей на колени, склоняла голову и превращалась в животное. Губы находили воду, и чувство счастья заслоняло все иные чувства. Она заходила на разбомбленную кухню, видела, как неостановимо хлещет ржавая вода из сломанного крана, и гнулась в три погибели, и ловила ртом сладкую, с привкусом металла и болота, рыжую струю.

Облегчалась она тоже, как зверь, находя то за деревьями лесополосы, то за высохшим колодцем, то за сожженным забором укромное место. Она жалела, что не стала после смерти ни слизистой, медленной улиткой, ни малой серенькой птичкой, безумно выводящей никому не нужную песню в отчаянно сплетенных обгорелых ветвях. Зачем она осталась человеком? Кто ее об этом просил?

Она забыла, верила ли она в бога.

Земля уже не нуждалась в божьей длани и божьем провидении.

Наверное, бедная земля забыла бога, как Руди забыла себя.

Она огляделась. Ремни рюкзака впились в плечи. Надо бы отдохнуть. Ноги шагали по проселочной дороге, глаза уткнулись в сломанную изгородь, за ней виднелись запущенные грядки. Валялись тыквы, прихваченные морозом. Желтели старые огурцы. Это тоже еда, сказала себе Руди, и хорошо,

что у меня есть нож. А может, в доме найдется что попить. Не вода, так компот. Не компот, так вино. В деревнях делали раньше домашнее вино. Ее родственники когда-то делали и ее угощали.

Ей до боли захотелось хлебнуть вина, опьянеть. Несбыточная мечта. Руди переступила через крутобокие тыквы, пнула сгнивший кабачок, шагнула на крыльцо. Ступенька прогнулась и хрустнула под ее ногой. Она вошла в гостиную. Старинный ковер. Мертвый лик телевизора. Банки соленых огурцов везде и всюду – на полу, на полках, внутри распахнутых шкафов. Никому не нужны теперь соленые огурцы.

Руди повела глазами. Никакой воды, нигде. Может, вскрыть банку и глотнуть рассола? Опять вышла на крыльцо. Опустила рюкзак на мерзлую землю. Дождевая бочка, и в ней черная, как деготь, вода, вот оно.

Она сбежала с крыльца и припала ртом к воде, пила жадно, долго, отрываясь и снова наклоняясь. Утолила жажду. Вытерла лицо ладонью.

Как мало тебе теперь надо для счастья.

Опять ввалилась в дом. Ни человека, ни скелета. Люди ушли отсюда, как ушла из дома и она сама. Включить телевизор? Она нажала кнопку. Экран молчал. Она усмехнулась: порваны провода, электричества нет на земле, оно было в другой жизни. До смерти.

Станным, игрушечным голосом Руди сказала, подражая забытым дикторам забытых новостей:

– Передаем последние известия! Люди из северной Европы ушли из городов и поселков! Все! До единого! Куда ушли? Этого никто не знает! Никто не знает и того, что в действительности произошло с Землей! Никто не знает и того, кто...

Голос упал и ударился об пол, и разбился дешевой стеклянной рюмкой.

– ...мы сейчас...

У тишины были уши, как и у нее. Тишина слушала ее, а она слушала тишину. Ничего страшного. Опасности нет.

Нет?!

За стеной будто гонг загремел. Сталь колотилась о сталь, и звон плыл в мертвом застоявшемся воздухе, пропитывая его соленым запахом рыбы, ножа, рассола. Руди шагнула к окну и ударила ребром ладони в раму. Створки распахнулись, стекло треснуло. Во дворе ветер раскачивал кусок широкого старого рельса, привязанного к толстому канату. Рельс бил в металлический, до дыр проржавевший, снятый с машины капот. Руди заворуженно глядела на рукодельный колокол.

«А может, это не ветер. Может, там, сзади, стоит человек и качает рельс».

Испарина окатила спину под мужской рубахой, под брезентовой грязной курткой. Руди подобралась, втянула поджарый живот. Сплошные уши и сплошные глаза – вместо на миг расслабившегося тела. Напряжение и внимание.

Хищно горящий внутри огонь верного, мгновенного выбора. Она уже слишком хорошо знала: после смерти на воле гуляют враги, и каждый из них мечтает на нее напасть.

Она осторожно, ступая мягко и неслышно, как волк, подкрадывающийся к добыче, вышла на кривое крыльцо. За углом дома слышались голоса. Два голоса: мужской и женской. Руди кошкой прыгнула к рюкзаку около бочки. Взвалила на плечи. Постараться улизнуть. Ускользнуть так, чтобы тебя не заметили. И не настигли.

Крадучись, она шла вон со двора, ноги вязли в комьях огородной земли. Успела дойти до обломков ограды. Топот ног за спиной. Кипяток страха, окатывающий с ног до головы.

Она превратилась в бег, в порыв. Сплошные ноги. И они улепетывают что есть силы. Не чувствовала тяжести рюкзака. Сзади кричали – не понять, что.

Она все-таки услышала, вылетая на шоссе, на пыльный холодный асфальт:

– Эй! Ты! Девчонка! Остановись! Ты! Слышишь!

Она бежала, еще прибавив скорость.

– Ты! Куда! Догоним все равно!

Теперь они трое летели по дороге – она впереди. «Только не зацепиться ни за что ногой. Только бы не упасть. Упаду – раздавят, сомнут, изорвут, сожрут, косточки не оставят».

Ветер свистел в ушах. Она чувствовала: бежит со скоростью, с какой раньше ездили машины. Старалась дышать экономно, скупно. Раз – ноздрями поймать воздух. Два – вы-

дохнуть, краем легких, трахеей, сохранив пузырьки драгоценного ветра в бронхах, в альвеолах.

– Ты! Гадина! Стой!

Все глуше крики. Все дальше гибель.

А разве люди после смерти боятся гибели?

Она поняла – она их обставила, унеслась далеко вперед, не догонят. «Меня не догонят никогда, я бегаю очень хорошо». Исхудалое тело потеряло силы в неистовом беге. Руди, оглянувшись, увидела двоих мужчин, одетых в отрепья; они трясли вздымаемыми кулаками, один из них, выталкивая ругательства, плюясь, задыхаясь, свалился на асфальт. У них обоих не было сил, чтобы догнать ее, хотя они очень хотели.

Женщина вспомнила: они кричали ей «девчонка». А разве до смерти она была девчонкой? Смешно. Какая она девчонка. Когда она, свернувшись в клубок из рук и ног, из тряпок и лоскутов, укрываясь то охапками листьев, то дырявым одеялом, найденным в заброшенном сарае, засыпала – то в чужом пустом доме, то на гулкой лестнице, то в стоге сена, то прямо при дороге, – ей казалось: ей уже лет тысячи три, не меньше.

Под ноги Руди легла тропинка. Свернуть с дороги. Вот и хорошо. Надо укрыться. Надо исчезнуть.

Человек, исчезая, умирает. На миг. На вечность. Для преследователей. Для самого себя.

А бог? Бог видит тебя, жалкую бродячую тварь?

Тропинка вывела ее на другую дорогу. Сколько уже дорог переплелось под подошвами старых, когда-то стильных мужских туфель, пока она шагала все вперед и вперед? Она не считала. Земля еще была разрезана на куски дорогами и тропами, шоссе и виадуками, развилками и автострадами. Иди не хочу.

Впереди замаячили здания – за одноэтажными домами возвышались дома повыше, за ними еще выше. Город медленно и угрюмо вырастал из вечернего тумана. Солнце закатывалось теперь, после смерти, все время в мрачно-серый, потусторонний кисель, а днем вертелось желтым сметанным шаром в рваных лохмотьях вечных туч. Руди забыла, что такое небесная синева; она никогда не вспоминала о ней.

Город был еще опаснее деревни. Ноги уже гудели. Необходим отдых, и пришла пора поесть, набраться сил. Надвигается ночь. Она опаснее дня. Надо устраиваться на ночлег, а где он у нее будет в этот раз?

Город молчал, и молчали дома. Вымерший город погружался во тьму, и женщину охватил страх: может, за ней уже кто-то настороженно следит вот из этих окон, вот с этого чердака, из той мансарды?

Руди замедлила шаг. Шла и читала вслух вывески на пустых магазинах: LE MONTI, GUCCI, ARMANI, FENDI.

А вот совсем скромно, маленькими беленькими букочками: СТРИГУ И БРЕЮ. КОЗЛОВЪ ИЗЪ ПЕНЗЫ.

А вот еще, совсем уморительно, умилительно: КАВЯРНЯ.

Она забыла, в какой она жила стране. Разве это сейчас было важно? Важно найти безопасный, надежный ночлег, расположиться, поесть и уснуть. Важнее этого нет ничего на свете.

Темнело быстро. Руди все больше замедляла шаг, вот ритм ее шагов сравнялся с ударами ее сердца. А сердце билось медленно, сторожко, еще медленнее, еще. Тьма наваливалась и обнимала. Тьме невозможно сопротивляться: ее придумали не люди, с ней надо мириться.

Глаза слипались. В животе урчало. Во мраке дома казались выточенными из призрачного дырявого, в сломах и сколах, весеннего льда. Руди завернула за угол – и прямо в глаза ей ударил выблеск огня.

Костер. Посреди улицы. И вокруг костра – люди.

Немного людей. Пятеро или шестеро, а может, больше; а может, меньше. Некогда считать. Они тянут руки к огню, греются. Или готовят на огне еду. Все равно.

«Тебе уже все равно. Они уже увидели тебя».

Люди смотрели на Руди.

Руди смотрела на людей у костра.

«Бежать? Не убегу. Не успею. Подойти? Что им сказать? Прикинуться жалобно блеющей овцой? Наврать, что за мной идут муж и три брата-богатыря?»

Руди переступила через свой страх и шагнула к костру.

Люди молчали.

Руди сказала негромко:

– Всем привет.

Ей никто не ответил. Лишь худощавый юноша, сидевший ближе всех к огню, поднял руку и слабо помахал ею женщине.

Она сделала еще шаг, другой. От огня разливался ласкающий, забытый жар. Она, как и все эти люди, протянула к костру руки и закрыла глаза.

– У тебя есть еда?

Голос мужской, твердый.

Она открыла глаза.

– Немного.

– Это хорошо. Поделишься.

Мужчина сказал это утвердительно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

Руди кивнула.

– Да. Конечно.

Она совсем рядом с огнем. Люди подвинулись, давая ей место. Она молча уселась на землю и стащила с плеч рюкзак.

Как ей было жалко ее еды! Но она развязала тесемки. Запустила в рюкзак руку. Вынула банку, вслух прочитала на ней надпись.

– Томаты. Пойдет?

– Без вопросов. – Кудлатый, бородатый мужик, сгибая и разгибая застывшие пальцы, повернулся к ней и протянул руку. Второй руки у него не было. Пустой рукав заправлен

в карман бушлата. – Давай сюда.

Она протянула банку, и бородач цепко взял ее и сдвинул коленями. Услужливая рука протянула мужчине нож. Руди изумленно глядела, как мгновенно, она и ахнуть не успела, он вскрыл консервы. Поплыли, выгнулись лодки рук. Шевелились просящие пальцы. Помидоры из банки исчезли так быстро, будто их и не было вовсе, жалких красных соленых шариков.

Люди облизывались возле огня, как волки.

Они все смотрели на Руди.

«Сижу, рюкзак снят, не встать, не удрать, сейчас все отнимут. Так тихо, мирно ограбят».

Руди улыбнулась. Важно было улыбаться. Не показать отчаяния, огорченья.

«Что я буду есть теперь? Я не уйду отсюда никогда».

– Что ты улыбаешься? – спросил однорукий.

– Вкусные томаты, – бодро сказала Руди.

– Еще! – повелительно выдохнул калека, и скрюченные пальцы протянутой к Руди руки угрожающе шевельнулись.

– А вы не все возьмете? – вырвалось у женщины.

Безрукий усмехнулся углом щербатого рта.

– Нет. Мы не разбойники. Всмотрись. Мы семья. Я хочу немного продлить жизнь своих. А ты, вижу, всех своих потеряла, если идешь одна. Не жмись. Давай, раскошеливайся.

Руди покопалась в рюкзаке и вынула оттуда обеими руками кукурузный початок в упаковке и железную банку ветчи-

ны. Обвела глазами сидящих у костра. Трое мужчин, старший, младше, еще помладше. Две дико отощавших женщины. Они не двигались – у них уже не было сил шевелиться. Сидели, бросив макаронины-руки, вытянув ноги-деревяшки, и огонь лизал развалившиеся на кожаные полоски туфли.

И у самого огня сидел ребенок. Маленький мальчик, лет трех-четырёх. Он неотрывно, не мигая, глядел на разудалую пляску огня.

Руди глядела ему в затылок.

И что-то в ней хрустнуло и надломилось. Дрогнуло и поплыло.

Бородатый очень осторожно, будто боясь причинить ей боль грубым прикосновеньем, взял у нее из рук ветчину и кукурузу. Повертел, рассмотрел этикетки. Довольно хмыкнул.

– Спасибо. И как ты волокла такую тяжесть на горбу?

Кивнул на ее рюкзак. Руди снова вымучила улыбку.

– Я сильная.

– Завязывай.

Она схватилась за тесемки. И поймала взгляд мальчика.

Мальчик обернулся от огня. Он смотрел на нее.

Зрочки плясали. Огонь буянил. Глаза мальчика вошли в ее глаза, пробуравили ее мозг, упокоились глубоко в сердце.

Она медленно, как во сне, распустила тесемки, наклонила рюкзак и высыпала на землю добрую половину своих запасов, не прекращая глядеть на мальчишку.

Люди у костра молчали по-прежнему.

Бородатый мужик легко, невесомо прикоснулся ее плечу. Сам завязал тесемки ее рюкзака.

Перед глазами женщины колыхались золотые флаги, синие стрелы. Скрещивались алые и зеленые сабли. Мир на миг стал цветной и веселый, как раньше, до смерти. Мужчина оскалился сквозь бороду – он улыбался ей.

– Сиди. Не ходи никуда.

– Не уйду, – разлепила она губы.

– Мы напоим тебя чаем. Еду, что ты нам подарила, растянем надолго.

– Я рада.

– Можешь отдыхать. Спать будем все тут, у костра, когда он догорит. Так теплее.

– Поняла.

– Ты знаешь какую-нибудь песню?

Она удивленно распахнула глаза. Ее рот сложился в смешное сердечко. Вопрос бородача застал ее врасплох. Она не знала, что ответить.

– Я...

– Ты тоже все забыла?

До нее дошло. Все забыли все. И песни тоже. Петть было не о чем. И незачем.

– Да. Не помню ничего.

– Ну и ладно. Извини.

Длинноносый мужчина, сидевший рядом с бородачом, за-

варивал чай в железной кружке. Насыпал из пачки в ладонь жменю, бросил в кружку, выхватил из костра обгорелый чайник, залил кипятком заварку. Руди поймала ноздрями забытый запах.

Скатерть... фарфор... тапочки... смех... камчатные кисти... розетка... варенье... свеча... вязанье... поцелуй... что-то еще?.. ах да, звуки... плывут... голос... песня...

Она вытерла грязными руками лицо.

Длинноносый протянул ей горячую кружку. Она взяла и обожглась, сморщилась. Прихлебывала чай, дула на него. Все как раньше. Все как всегда. Чай, и тепло, и утоление жажды. И скоро спать. Баиньки.

Мальчик внимательно смотрел на нее. Молодая женщина рядом с мальчиком держала в руке галету из ее рюкзака. Она поднесла галету ко рту мальчонки.

Руди глубоко вздохнула, и из ее глотки вырвалось само собой:

– Полночная дева... будь со мной! Полночная дева, нельзя быть одной... Вот полночь идет, и звезды во мгле... Мы вместе... с тобой... на нашей...

– Земле-е-е-е... – подтянул мальчик фальшиво, с набитым ртом.

Он тоже знает эту песню?!

По лицу Руди потекли крупные слезы. Она хотела замолчать и не смогла. Против воли, хрипло, натужно, песня вырывалась из ее груди. Песня процарапывала жесткими граб-

лями засеянную железом, окуренную дымом почву. Когтила грудь слева, там, где раньше билось и болело. Песня выдавливалась из глаз стыдную, странную влагу – то ли сукровицу, то ли соленую юшку, то ли сонную лимфу.

Люди забыли, когда они плакали. Они смотрели на плачущую чужачку и слушали, как надывается ее жилистое тело, рождая песню.

Она забыла слова. Костер потрескивал в тишине.

Вокруг огня колыхала огромными крыльями беззвездная ночь.

Бородач тяжело встал, разогнул спину, хрустнули коленные суставы. Он подложил в огонь поленья. Ножки старых стульев, разломанный на дрова кухонный шкаф. Сколько домов вокруг! Сколько мертвой мебели! Хватит, чтобы жечь костры до скончанья времен.

– Будешь спать?

Она робко взглянула на бородача.

– Когда? Сейчас?

– Мы все будем укладываться. Хочешь – сиди. Эти дрова догорят, больше не кидай. Экономь.

Люди, медленно, через силу, зашевелились, встали. Каждый нашел свою постель за своей спиной: кто спальный мешок, кто старый матрац, кто верблюжью кошму, кто огромную коробку, выложенную изнутри овечьей, поеденной молью шерстью. Каждый забрался на свое ложе и закрыл глаза. Закрывать глаза! Уснуть! Великое счастье.

Руди затрясло. Колючими руками ее обнял озноб. Она не уснет, не надо и стараться. Рваные черные, траурные тучи неслись по небу, на миг открывая то мертвенно-синюю Луну, то красные страшные звезды, и снова пряча их.

Женщина обхватила руками колени, плотно сжала, чтобы они не дрожали. Зуб на зуб не попадал. Она стала глядеть в огонь. Огонь то удалялся, то подступал; у него были ноги и руки, у него билось сердце, как и у нее. Когда биение сердец совпало, она успокоилась. Лихорадка исчезла. Сладкое тепло разлилось по телу, будто она выпила горячего глинтвейна.

Еще и еще глядеть на пламя. Погружаться в него. Опустить в него руки, пальцы, плечи, грудь. Тонуть в нем блуждающими взглядом. Пусть сердце сгорит. Кому оно нужно?

Кому нужна она сама?

Глядя в огонь, она стала вспоминать. То, чего она еще вчера не могла. Оживали, плыли, катились перед глазами, разворачивались свитками, бились стягами на пронизывающем ветру картины жизни. Той, что была у нее до смерти.

Огонь. Он сжег все. Все выжег. Дотла.

А кого, что не успел уничтожить – то прикинулось живым; но это лишь на миг.

И миг может длиться вечность. Ты знаешь об этом?

Это наступило так: она спала. И все в доме спали.

Она первая услышала гул. Сквозь веки просочился не свет, а призрак света. Будто огонь зажегся внутри нее, на окраине ее погруженного в мирный нежный сон сознания. Огонь потек по кровеносным сосудам, сворачивался в жгучие узлы, вспухал под кожей, прорастал резкой, дикой болью, первобытным страхом. Она забилась на кровати, как в падучей, вытянула ноги в болезненной судороге, вскрикнула и проснулась.

За полупрозрачными тяжелыми шторами разгоралось сияние. Она читала в книжках про северное сияние. Она никогда не была на севере, но подумала: а вдруг земля сместилась в пространстве, и там, где они живут, сейчас полюс? Далекий гул накатывался и заполнял комнату, так вода наполняет пустую кастрюлю.

Она соскочила с кровати и подбежала окну. И распахнула шторы.

Окраина их рабочего поселка. Холмы, перелески. Далекие дома, фермы, водонапорная башня из красного и белого кирпича. Столбы, крыши, провода. Обычная земная летняя ночь. Тишина. Стрекохут цикады. Только из-под земли идет гул. И вдали разгорается розово-белым жутким светом сияние, которого никогда не видели ни живые, ни мертвые люди.

Гул накатывался стремительно. И свет не отставал: вот уже он слепил глаза, вот уже через стекло лицо Руди опалило жестким жаром. Она зажмурилась.

– Руди! Скорее! Бежим!

Голос матери. Мать и отчим ночевали внизу, на первом этаже; она всегда спала в комнатке на втором.

А рядом с ней, в крохотной спальне, похожей на кладовку, где хранились овощи и фрукты, среди тыкв и кабачков, среди сушеного винограда и связок чеснока, спал ее брат, подросток, подранок, противный и любимый Савенко. Она так и звала его: Савенко, по фамилии, хотя, понятно, у него было имя.

И вот сейчас, перед лицом неведомого и дикого, и, может быть, последнего в жизни, она выкрикнула не имя его, не фамилию – детское смешное прозвище.

– Кролик! Беги!

Стукнула дверь кладовки. Выбежал заспанный брат, тер кулаками глаза.

– Что?! Где?! Куда...

Внизу истошно кричала мать:

– Началось! Все-таки началось! Рудичка! Быстрее! Бежим! Спрячемся!

Юбка. Нет, лучше джинсы. Рубаха. Закатать рукава. Что-то теплое? Нет, лето. Лето кончится! Босоножки. Где кроссовки?! Наплевать. Некогда искать.

Они с братом скатились по лестнице вниз, обдирая ладони о неошкуренные свежие доски перил. Мать в ночной рубашке, отчим в огромных, как парус лодки, трусах металась по комнате, затапливая в сумки снесь, тряпки, шапки, плат-

ки, простыни; отчим отчего-то сунул в пакет молоток, и Руди подумала: верно, пригодится.

– Деточка моя! Бежим! К складам! Там есть подвалы!

У отчима трясся подбородок. Слюна застыла на синеющей, сизой от страха губе. Они, все вчетвером, вылетели вон из дома и, задыхаясь, побежали по улице. Рядом с ними бежали люди. И они все задыхались. Не глядели друг на друга. Многие кричали. В воздухе уже чувствовался гибельный жар. Далеко грохнуло, налетел резкий, со странным запахом, ветер, толкнул людей в грудь. Люди повалились на землю: кто упал – подкосились ноги, кто послушно лег и закрыл голову руками.

Ждали.

Стекла зазвенели в окнах. Зазмеились трещины, осколки посыпались на асфальт, на песок. Громко, пронзительно закричал ребенок. Мужчина завопил:

– Далеко от нас! Не бойтесь! Успеем!

Опять побежали. Потекли отчаянной многоголовой рекой. Огонь рос и заливал небосвод, накатывался могуче и неотвратимо. Огонь уже занял полнеба, и Руди, когда бежала, то и дело задирала голову, чтобы всмотреться в то последнее, что она видит на земле. «Больше никогда», – шепнула она себе. Понимала: если ударит рядом с ними, а то и прямо в них, бегущих, они обратятся даже не в пепел – в призрак, в луч.

«Все-таки началась эта война».

Рюкзак с консервами подпрыгивал за плечами, больно ударяя по лопаткам и хребту. Она оглянулась. Брат! Где брат?

– Кролик! – крикнула она, но ни один из людей, бегущих рядом с ней, не оглянулся на этот беспомощный слабый крик. Ни матери. Ни отчима.

«Может, они куда-то спрятались?»

Внезапно огонь восстал, будто из-под земли вылетел, со всем рядом; желтая масса выкатилась из тьмы и пожирала ее, великую тьму, великую мать. Руди закрыла лицо ладонями. Она ослепла и оглохла. Тугой воздух толкнул ее в спину, и она упала ничком, разбив себе нос об асфальт.

Очнулась. Лицо в крови. Кровь хлещет из носа. Села. Запрокинула голову, зажала нос рукавом рубахи. Дышала ртом. Вдалеке горели дома. Огонь шел, как ливень, желтой слепящей стеной. Треск и гул висели в воздухе, и воздух накалялся – нельзя было дышать, и кричать нельзя было: черный вонючий гул пожирал все, крики, слезы и стоны.

Великий огонь, вот ты какой. Тебя придумал и родил сам человек. А человек – часть мира, и он носит огонь внутри себя; человек просто обнаружил огонь в себе и выпустил на волю. Вот и все, все очень просто. А все говорили – мы разумные, мы не допустим войны, мы договоримся.

Все договоры ничего не стоят перед огромной силой великого огня. Мы его узнали; мы его полюбили; мы его открыли; мы его родили. Значит, огонь будет жить, а мы умрем. Все

правильно. Все справедливо.

– Мама! Отец! Где вы! Где...

Пламя ревело и билось на ветру.

Она опять бежала, кусая губы, не видя и не слыша ничего. Слезы катились по ее щекам и тут же высыхали – такой великий жар стоял в последней, перед смертью, ночи.

А что было дальше?

Вспоминай, грей руки у огня. У чужого костра.

А разве он чужой? Теперь от твой. Теперь все общее.

Люди давно мечтали, чтобы у них было все общее. Вот и домечтались.

Греть руки. Думать: вот в рюкзаке осталось немного еды. Надолго ли ее хватит? Что будет потом? После смерти тебе должно быть все равно, что с тобой будет; а ты все еще об этом печешься.

Вспомнить мужчину, с которым была.

Тощий, в язвах, диковинный такой. Рубаха узлом скручена на груди. Глаза горят, как два фонаря. Светлая рыжая щетина, исцарапанные щеки и руки, будто бы с котом дрался, или собаки покусали. На мертвых улицах теперь не было ни кошек, ни собак – они ушли или в леса, или тех, кто остался с людьми, убили и съели сами люди.

Шел и насвистывал песенку.

Она сначала песенку услышала. За домами. Думала – мальчик свистит, ребенок, не обидит. Доверчиво пошла

на звук.

Завернула за дом – а там он, вырос перед ней, качается, вертит узел на пузе, губы дудочкой сложены. Продолжает свистеть.

И она тоже сложила губы, как для свиста. А он подумал – она дразнится.

Схватил ее за руку, и она увидела отвратительные, длинные, как красные водоросли, в красных корках, язвы на его запястьях, локтях, открытой в ворота рубахи тощей, с острым кадыком, шее.

– Пусти!

Он держал крепко.

Руди попыталась извернуться и вырвать руку. Мужчина дал ей подножку. Она грохнулась на землю тяжело, вместе с грузным рюкзаком. Лежала перед мужчиной на земле, глядела на него снизу вверх. И он глядел на нее.

Она все поняла, что он сказал ей глазами.

– Не надо. Я тебе консервы дам. Пожалуйста.

Страх вполз в нее медленным червем, а она уже думала – после смерти люди ничего не боятся.

Мужчина усмехнулся нехорошо, глаза его потемнели, тучи прошли по лицу и исчезли в надвигающейся тьме.

– Уж вечер. Надо бы бай-бай.

Снова тяжелая, недобрая ухмылка.

Руди отвернула лицо, чтобы не видеть эти губы, эту рыжую щетину.

– Что валяешься? Вставай!

Она встала.

– Иди!

Она пошла.

Он шел вслед за ней, и она слышала, как шуршат его подошвы по гравию.

Она шла и не видела ничего, глаза ей застилали слезы, а он видел все. Он нашаривал глазами удобный дом, и он нашел его. Подвал, разбитые окна. Дверь открыта. Ночуй на здоровье.

Он показал пальцем: сюда! – и Руди торопливо вошла, молясь об одном: чтобы все случилось скорее. «Скорее, скорей», – торопила она свой позор, свою боль. В детстве она так мечтала о любви, о красивой свадьбе, и чтобы у нее было пышное белое платье с рюшами и оборками, похожими на взбитые сливки или на лепестки белых роз, и громадная, по ветру летящая фата, похожая на пену морского прибоя. Ни моря, ни прибоя. Чужой, дурно пахнущий, покрытый тошнотворными язвами мужик загнал тебя в подвал, откуда есть только один выход – в боль и позор.

Она подумала: а что, если вынуть из рюкзака нож? Он словно прочитал ее мысли. Сорвал у нее со спины рюкзак и отбросил далеко, в мышиный, затканый паутиной угол. На окнах решетки, на полу осколки оконных и зеркальных стекол. Можно пораниться. Он понял. Огляделся. Увидел

под окном старый спортивный мат; рванул Руди за руку и бросил вперед, и она упала на мат, как куль с сахаром или зерном. Мужчина, ослабившись, поглядел на лежащую перед ним дичь. Развязал узел на животе.

По его груди и волосатому животу расползались такие же красные водоросли, как и по рукам.

Руди чуть не вытошнило. Она зацарапала ногтями мат и вскрикнула:

– Отойди! Я тебя загрызу!

Мужчина издал сдавленный короткий смешок. Ему все было нипочем. Зверь увидел зверя и захотел покрыть его. Жизнь после смерти оказалась проста, проще хлеба и воды. Совокупиться и разбежаться.

«А разве до смерти люди не поступали так с людьми?»

Она отвернула лицо. Холодный мат прилип к ее щеке.

«А может, он поймет меня и убьет. Такое тоже возможно».

Эта мысль принесла странное облегчение. Руди боялась не мгновенной боли – она боялась, что теперь с ней надо будет жить. Мужчина уже стаскивал брюки. Она видела тощие, словно переплетенные сосновые корни, жалкие ноги; русые волоски на ногах; мотающийся на изъязвленной груди нательный крест. Видела наколки на запястьях и возле сердца – синева тату просвечивала сквозь коросту болезни: морские якоря и русалки, а напротив сердца – компас.

«Моряк. Когда-то ходил в море на кораблях. Моря, океа-

ны. Акулы... летучие рыбы...»

Он прыгнул на нее сверху, как хищник прыгает на жертву, и бесполезно было сопротивляться, царапаться, бороться и визжать. В последний миг, во мраке затхлого подвала, она успела увидеть его вздыбленный, истекающий соком сук и поразилась его уродству и величине. Сцепить зубы, чтобы не орать. Вопли делу не помогут.

Помог ей он сам, всунув ей в рот – она и пикнуть не успела – грязный носовой платок, пахнувший дешевым парфюмом и кошачьей мочой.

Он содрал с нее джинсы. Стал расталкивать ей коленями ноги, а она все сжимала их, до тех пор, пока поняла, что надо уступить, время пришло.

Всему приходит свое время: гибели и рождению, гниению и зачатию.

Мужчина пыхтел и скрипел зубами. Всунуть суковатую палку в разымчивое пылающее женское мясо было делом двух секунд. Но он не предполагал, что должен порвать плотную завесу и пролить первую кровь. Это уже требовало особого труда. Он бил и бил в туго натянутую кожаную складку, пока не прободал ее, как бык рогом ребро неумехи-тореро. Уд скользнул в сосуд без дна, утонул, потерялся в нем. Девчонка, стерва, изловчилась и выплюнула самодельный кляп. Да как вопьется зубами в его губу!

Боль от укуса возбудила его, он задвигался сильнее, злее, мощнее. Грязней навалился на быющеся под ним тело. Он

заставит ее плясать и плакать! Орать во всю глотку! Она поймет, что такое страсть! С ним... с ним...

Человек обнимал человека. Сначала насилдовал; но оба, и мужчина и девочка, ставшая женщиной, не поняли, когда насилие стало переходить в удивление, изумление – в тягу, борьба – в наслаждение, прощение – в прощание.

Они оба склеивались телами, руки наползали на руки, живот, плаваясь, приваривался к животу, и они чувствовали – да, вот, вот оно. Два человека так неистово, невероятно погрузились друг в друга, что тела на короткое, неуловимое мгновение стали душами. И две души упоенно обняли друг друга и, летя под потолком, смотрели на самих себя, тесно и чисто сплетшихся на земле, на черном грязном спортивном мате. Души улыбнулись друг другу: так вот как бывает! – а тела вздрогнули и прижались еще теснее, еще неразрывней.

Руди перестала ощущать себя. Прекратила чувствовать боль. Ей сначала было больно, а потом боль стала уходить. Боль уходила, улыбалась ей и махала на прощанье рукой: прости, девочка, мы не увидимся больше, прощай. Руди зажмурилась и нашла губами прокушенную губу своего первого мужчины. Она не понимала, что она сейчас, вот сейчас, не зная, не думая, что происходит, целует его.

И мужчина это понял. Такой поцелуй дорогого стоил. Он крепче обхватил Руди руками, просунул ладони ей под лопатки, ощутил шершавой кожей ее слишком нежную, как у новорожденного поросеночка, теплую кожу. Она вся горе-

ла. Он, чувствуя, как странно горячим, податливым становится у него то, чем он кромсал и пронзал эту трусливую овцу, этого уличного найденыша, мусорную конфетку, ощутил прилив крови не к мошонке – к груди. В том месте, где у него давно не билось мертвое сердце, теперь возник теплый ток.

Ток струился и вытекал. Внизу все напрягалось и твердело, а вверху, там, где близ захлестнутой умилением глотки порывами билась вновь обретенная нежность, все таяло, мерцало и испускало лучи. Что за чертовщина, подумал он о себе зло и досадливо, что за дьявольщина, ты что, мужик, что тебя развезло, что ты как пьяный, как школьник за гаражами! Но он не тело обнимал под собой – живую, теплую, страдающую душу.

Единственную.

– Единственная, – странно, умалишенно выдышал он в теплое женское ухо, подвернувшееся под его дрожащие губы.

Они оба подались друг к другу. Женщина забилась под ним. Он подхватил ее ритм. Он становился попеременно то тяжелым, то бестелесным; то огненным, то ледяным; его бросало из огня да в полымя, он становился то зверем, то человеком, то ветром, то птицей, и вдруг, сам не понимая как, обратился в крохотную частицу плоти – в себя самого, ставшего невидимым быстрым мальком, плывущим к алой, набухшей счастьем и жизнью икре. «Я уже на крючке, я в плену, мне не выбраться», – подумал он сам о себе остатками мыс-

лей. Они оба бились и вились व्यюном, обвивали друг друга. Пальцы становились ртами, рты – срамными губами. Они видели сердцами и молились потрохами.

Одно мгновенье. Миг вдоха; миг выдоха.

Обняться еще крепче – и, крича от радости, выйти вон друг из друга, как ветер выходит из туч, насквозь пронзая распятую внизу черную, гиблую, мокрую землю.

Ты помнишь, как все было дальше?

Мужчина скатился с тебя. Встал, кряхтя. Долго обтирал ладонями, подолом рубахи окровавленный штык. Застегнул пуговицы; тем же крепким узлом завязал рубаху на животе.

– Ну что? Понравилось?

Голос ножом разрезал тайну. Тайны больше не было.

Руди слепо уставилась в стену. Грязь на стене складывалась в неведомые узоры: потеки и сопли сырости, осыпавшийся кирпич, рисунки мелом, следы тараканов, волокна паутины, процарапанные железом непристойные надписи.

И надо всем великолепием канувшего в небытие людского орнамента, нелепой вязи бытия, горело, написанное подсохшей коричневой кровью:

DUM SPIRO SPERO

Мужчина не знал латыни. Руди тем более.

Руди протянула руку и потеряла кончиком пальца кровавые иероглифы.

– Что трешь? – спросил мужчина, уже стоя у выбитой две-

ри. – Стереть хочешь? Силенок мало у тебя.

Мужчина поглядел на ее рюкзак.

«Сейчас отнимет. Заберет. И провалится. Навсегда».

Он перехватил ее взгляд и усмехнулся колючими, в рыжей щетине, губами. Пригладил волосы. Красные водоросли на волосатых руках гадко шевелились.

В дыру, прежде бывшую дверью, врывается свежий ночной ветер. Холодало. Надвигалась осень. А за ней во весь рост вставала зима, потрясая ледяными ветвями, набухшими вьюгой тучами.

Мужчина сделал шаг за порог, последний шаг, и Руди не сказала ему в спину ничего; ни слова.

Огонь. Как хорошо смотреть в огонь.

Она крепче обняла колени. Наблюдала, как гас костер. Осталось совсем немного жизни пламени. Может, полчаса; может, еще меньше. Тихая ночь, холодная осень. Скоро придет зима и все заметет. И живых, и мертвых; и боль, и радость.

Ей почему-то не хотелось спать здесь, с этими людьми. И не хотелось спать вообще. Она потрогала ногой рюкзак: ровно половина еды у нее осталась, а может, и того меньше. Задрала голову и обвела взглядом мрачный строй пустых домов.

Там холодно, а здесь огонь. И там, в домах, может таиться враг.

Руди глубоко вздохнула. Говорили, что сейчас нельзя глубоко дышать – вдохнешь отраву, быстрее умрешь. Люди умирали, кто плача и крича, кто безропотно и молча; она, идя по дорогам, видела, как корчились под кустами, царапали железо моста обреченные. Она часто думала о себе: вот я тоже скоро умру. Но ее тело, хоть и отощавшее, было еще сильно молодостью и жестким, жестоким сопротивлением гибели.

Где мать? Где Кролик? Об отчине она не думала.

Может, они давно уже...

Мысль рвалась ветхой нитью. Мимо щеки полетели странные белые клочья. Она потерла лицо кулаком, будто спросонья. Зажмурилась, опять вздернула ресницы. Снег. Это шел снег, а она о нем тоже забыла. Думала: вот старая серая вата летит, как в театре, на спектакле, из-за кулис.

Поежилась. Брезентовая куртка спасала от холода только летом. Счастье, она успела натянуть на себя перед бегством из дома старый отцовский свитер.

Она очень любила отца. И помнила его. Его лысую, вечно загорелую блестящую голову; нежный, снежный пушок вокруг лысины. Его мощные, моржовые усищи, солнечную улыбку, родинку на подбородке. И руки, эти руки, что так высоко подбрасывали ее, малышку, в воздух. И сад, где она давила сливы и яблоки ногами в босоножках, похожих на утят; а отец вразвалку шел за ней по тропе и кричал ей в спину: «Рудька, слива падает, лови!»

Свитер колот грубой шерстью локти и предплечья. Она вскинула поклажу на спину. Вперед. Она все равно не уснет. Значит, надо не тратить ночь на бесполезный отдых, а идти.

Через пару минут она уже пожалела, что отошла от привала молчаливых людей.

Женщина изначально трусиха; но и дюжий, ражий мужик тоже может забояться, один в ночи, в мертвом городе.

Оглянулась: огонь догорал. Огонь подарил ей воспомина-ния, которых она не хотела. Зачем они приходили к ней? Все, теперь она никогда про это все не вспомнит. Ни к чему.

Прощай, огонь. Не встретимся больше никогда.

А жаль.

Руки, согревшиеся близ костра, уже начали мерзнуть. Под подошвами хрустел лед. Лужи схватились наледью, отсвечивали сизым сливовым налетом, чернотой сапога. Руди глянула на свои чудовищные башмаки. Они достались ей в наследство от того мужчины в язвах, что стал ее первым любовником.

«И последним».

Он так торопился уйти от нее, что ушел босиком.

А она, когда тяжело встала с бетонного пола подвала, обтерла с бедер кровь скомканными трусиками, озиралась беспомощно и жалко, как подстреленный зайчонок, обхватывала себя за плечи еще сведенными судорогой объятая руками, – увидела: стоят башмаки, и он ушел без них, и она босая, и значит, можно надеть чужую обувь, и значит, теперь доро-

га не изранит ее ноги, и пятки не покроются коркой крови и пыли, и гвоздь не вопьется, и камни не исколют. Воткнула ноги в башмаки. Ее плоть впрыгнула в чужую жизнь. Обувь еще хранила тепло хозяина. Руди стало и противно, и уютно. Будто она подсмотрела чужое купанье в замочную скважину.

А теперь она привыкла к этим башмакам, как каторжанин привыкает к колодкам.

Тупо, тяжело переставляя ноги, она уходила, удалялась от пристанища, где не ее ограбили – она сама отдала половину своей оставшейся жизни людям у костра.

Всем им? Тому мальчику, что так пристально смотрел на нее.

Улица сужалась, втягивая, всасывая ее в пугающую воронку. Руди оглянулась в последний раз на огонь.

Его уже не было. Все. Потух.

«Прошагать эту улицу до конца. И город кончится. И что? Выйти в поле? На берег реки? Там ночевать нельзя. Там волки, лисы. Одичавшие собаки. Значит, идти. До утра».

Она поправила ремни рюкзака на плечах. Ноша облегчилась. Руди шагала и шагала, и постепенно ритм ее шагов заставил ее успокоиться.

И, как только она успокоилась, – сзади нее послышался шорох.

Она резко обернулась как раз в тот момент, когда ее цепко схватили за локоть.

Она вывернула локоть. Ее схватили за другой.

Мужчина и женщина, оба ниже ее ростом, почти лилипуты, карлики, вцепились в нее – не вырваться.

– Эй, вы, – глухо сказала Руди, – что вы? Пустите!

Люди крепко держали ее за локти, с ненавистью глядели на нее снизу вверх и молчали.

– Что я вам сделала?!

Лысый карлик процедил на языке, не ее родном, но похожем на ее язык, и она поняла:

– Пища. Нам надо пищу. Еще нам надо одежду.

«Ударить его ногой в живот?! Ее – пяткой в рожу?!»

Женщина походила на лохматую собаку чау-чау. У мужчины на узкой тонкой шейке бессильно и сонно, как у китайского бонзы, болталась слишком большая, круглая, тяжелая голова.

Чау-чау гавкнула:

– Давай! Живо!

– Что – живо?

– Снимай!

Карлица стукнула ногой по ее башмаку.

Руди, как во сне, стянула ногой сначала один башмак насильника, затем другой.

Стояла босая на покрытом изморозью асфальте.

Чау-чау упрятала ее башмаки в два кармана: в один и в другой.

И это китайский бонза, а не она его, ударил ее ногой в жи-

вот так больно, что она заорала и скрючилась, и ляпка рюкзака поползла вниз с плеча, и тяжело плюхнулся мешок с едой на камни, а женщина-собака прыгнула на него и придавила грудью.

Бонза выхватил из кармана нож и ловко разрезал ремень. Рюкзак был свободен от хозяйки. Он уже принадлежал не ей.

Руди стояла, держась за ушибленный живот. Слезы текли по лицу.

«Стыд. Плачу. Две козявки ограбили меня! Уж лучше бы я всю еду отдала тем, у костра! Лучше бы я осталась вместе с ними!»

Она выпрямилась, зло сверкнула глазами. Сделала шаг к грабителям.

«У них нож, а у меня ничего. Голые руки».

И этими голыми руками она слепо полезла в карман брезентовой куртки. И выдернула оттуда зажигалку. Она никогда не курила, и это была не ее зажигалка. Это была старая зажигалка отца. И, возможно, никакого бензина в ней уже в помине не было.

«Папа! Помоги!»

Крутанула колесико. Раз! – не зажглось. Другой! – нет огня.

«Дай огня. Папа, дай огня. Дай!»

Третий раз.

Карлики смотрели как заколдованные.

Они не знали, что произойдет.

Огонь пыхнул между пальцев Руди. Язычок огня. Язык пламени. Мощь света. Приговор. Обряд. Счастье. Горе. Торжество.

Она сунула пламя прямо в глаза китайскому бонзе. В один глаз. В другой.

Прыгнула к чау-чау. Ткнула горячей зажигалкой в спутанный лес ее грязных волос. Волосы занялись, как сухая солома.

Чау-чау завывала, присела на корточки. Китайский бонза вопил, прижимая к обожженным глазам кулаки. Руди подобрала с земли рюкзак и бросилась бежать.

Ледяной асфальт и острая щебенка обжигали, кусали бо-сье ноги.

Она не добежала далеко. Вытянув руки, полетела носом вперед.

Через улицу была натянута тонкая леска.

Чау-чау, с горящими волосами, воя по-волчьи, подскочила к Руди, вскочила ей на спину и танцевала на ней страшный танец. Бонза кинул подруге нож. Женщина-собака, для острастки, резанула ножом по спине Руди – раз, два. Теперь закричала Руди.

– Не убивайте! Не надо!

Чау-чау, задыхаясь, встала на карачки на спине Руди и выкрикнула над ее ухом:

– А мы и не будем! Мы только потешимся! Мы тебе ухоотрежем!

Выпавшая из руки зажигалка валялась на обочине.

Руди извернулась и сбросила с себя карлицу. Изо всей силы пнула ее, как пинают футбольный мяч. Она чувствовала: по спине, по ребрам течет теплая кровь. Больно не было. Было страшно и весело. Скрючив пальцы наподобие когтей, она побежала на карликов, устрашающе разинув рот и издавая звериный рык. Они повернулись и побежали прочь.

Бежала она. Бежали они. Они бегали быстрее. Круглая голова бонзы моталась из стороны в сторону. Чау-чау превратилась в живой факел. Она кричала непрерывно, на очень тонкой ноте, пронзительно и невыносимо.

Когда Лысая Башка и Горящая Голова скрылись за поворотом, Руди без сил села на землю и зарыдала сухо, без слез. Вспомнила, как отец водил ее ребенком в цирк. Там вставали на хвосты, хлопая ластами, морские львы, а под куполом летали, как стрекозы, красивые гимнасты. А в перерывах между номерами на усыпанную опилками арену выбегали два клоуна – один черный, другой рыжий. И у рыжего, нарумяненного ярче яблока, так смешно вырывались из глаз фонтаны слез. А черный заботливо вытирал ему глазки громадным, как ковер, носовым платком и тоненько пищал: «Не плачь, зайчишка! Зайчишка, не плачь!»

Не плачь, зайчишка. Тебе бы сейчас такие слезные фонтаны. А слез нет. Уже все выплаканы давно.

Она вернулась на то место, где она зацепилась ногой за леску и упала. Нехитрая ловушка, а вот она попалась. На-

шла острый камешек, пыталась разрезать леску. Получилось. Это неважно. Привяжут снова. Люди ловят людей. Что ж, после смерти и это возможно на земле.

Подобрала зажигалку. Крутанула колесико снова. Снова зажегся огонь.

Она смотрела на пламя.

«Гори, огонь. Гори снаружи. Гори внутри меня. Все на свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру – а этот огонь будет жить. Милое пламя. Бедное, маленькое пламя. Какое ты крошечное, жалкое. Какое ты любимое. Как я люблю тебя».

Язык огня бился на холодном ветру.

Женщина улыбалась ему.

Она улыбалась ему улыбкой безумной и счастливой.

Когда огонь погас, женщина встала.

Медленно пошла по дороге, вдавливая босые ступни в изрытый трещинами асфальт.

Месяц второй

Страх

Слепота. Навек сужденная слепота.

Он жив, но не видит. Он чувствует – надо ползти вперед.

Что есть «вперед»? Что есть «не видеть»?

Вперед – это значит: двигайся. А видеть можно всем собой: кожей и кишками, желудком и хвостом. Хвост это или голова, какая разница? Хвост может становиться головой, и наоборот. Красная, черная, рыжая, теплая яма. И ты в ней – червь. Червяк.

Ползи, пробивай кольчатым телом тьму. Это твоя земля. И ты живешь внутри своей земли свою жизнь. И ничью другую.

Безглазый скользкий червяк, он полз на ощупь, и он начинал чувствовать.

Что такое чувство? Иной раз он скрючивался, сворачивался в кольцо, и тогда чувствовал: он защищен. Иногда выпрямлялся, а потом кувыркался, и чувство шептало ему: ты преодолел, ты достиг.

Зарождение ощущений занимало червя. Он на йоту продвигался в темной и теплой, глубокой яме – и довольство охватывало его; он замирал, прислушивался к себе, его из-

нутри распирал приятный жар. Это еще не было наслаждением. Застывая в неподвижности, он предоставлял самому себе свободу чувствовать. И свободу забывать о новых ощущениях.

Поэтому все, что он чувствовал вновь и вновь, было для червя воистину новым, неизвестным.

Однако он жил в царстве тьмы; и тьма была главной; и тьма была невидимой; и тьма была пустотой; и тьма была густотой; и тьма была ямой.

Яма защищала и берегла. Яма пугала и настораживала.

В яме можно было спрятаться навек, навсегда, укрыться, чтобы тебя никто никогда не нашел, не раздавил, не смял, не пронзил иглой. Червь чуял: кто-то неизвестный, гораздо больший, чем он сам, гигантский и страшный, может сплющить его, разрезать острым и жестким, насадить на тонкое, твердое и длинное.

Это была память боли; он еще не помнил ничего, а уже чувствовал боль памяти.

Этот некто, огромный, опасный, иногда ощущался червем, как тьма во тьме, как еще более глубокая, бездонная яма – под ямой, бывшей его обиталищем.

Червь уже чувствовал тепло и холод. Тепло было похоже на вспышку огня – он ловил ее всей тонкой гладкой кожей, а еще тончайшей теплой нитью, проходящей по всему его телу, от головы до хвоста, а потом от хвоста опять к го-

лове. Струйка огня бежала по живой дрожащей внутренней нити, воспламеняя ее, и он разогревался изнутри. Снаружи, во тьме, все тоже начинало пылать и согреваться. Червь и яма становились одинаково теплыми, добрыми и ласковыми; через миг – горячими; еще через миг – пылающими. Слишком сильный жар опасен, говорило ему робкое и верное чувство, не радуйся слишком, не торжествуй усердно.

И опять наваливалась тьма; она качала червя на мощных слепых руках, погребала под собой, заваливала комьями, и он едва шевелился под горами тьмы, бездыханный; а потом незрячая голова с упорством безысходности находила, торила, пробивала, прогрызала путь, и он полз по пути, ибо с пути свернуть нельзя было.

Червь ловил первые толчки материнской крови. Это было так странно.

Тьма – мать.

Это он чувствовал всякий миг, он не стал бы с этим спорить, если бы имел разум.

Каждый раз это было так неожиданно.

Вот он ползет, ползет – и замирает. Хочет отдохнуть. Все время двигаться нельзя.

Он замирал на века. На сотни столетий. Время переставало течь. Яма прекращала расширяться и сужаться. Верх и низ менялись местами. Голова обращалась в веселый хвост.

Конечное становилось бесконечным.

Тьма расширялась до пределов осязаемого мира.

И в тишайшей ласковой тьме рождалось биение.

Тук-тук. Тук-тук.

Это билось сердце матери-тьмы; и он, впервые поймав этот далекий ритмичный стук, содрогнулся: пришло чувство, что вот сейчас на него накатит дикая красная волна, воздымется высоко над ним, потом обрушится на него, такого малютку, крошечного червячка, и смоеет его в алый безбрежный, бездонный, довременный океан.

Стук повторился. Червь дрогнул всей скользкой кожицей.

А может, я уже не червь? Может, я уже способен на большее?

На что? Кто ты, если ты только научился чувствовать? Кто ты, если ты слеп, и слепа твоя мать, тьма, вокруг тебя?

Червь прислушался к себе.

И он ощутил в себе страх.

Страх. Он не чувствовал такого раньше.

Страх. Темный, темнее его родной ямы, страх.

Страх проникал под кожу. Забирался в тонкую вязь нитяных сосудов, в кровавую путаницу первозданных кишок. Было ли у червя сердце? Он не знал; он чувствовал – да, есть под кожей маленький теплый комок, и он отзывается на удары тьмы извне; одно биение тьмы – десять биений булавочного сердечка между двумя содроганьями слизистых, скользких

колец.

Откуда явился страх? Червь не знал. Он то сжимался, то разжимался, пытаясь страх побороть шевеленьем, движеньем. Страх не уходил. Он не давался червю; он был во много раз больше и сильнее червя, и червь ощущал: не надо во-евать со страхом, надо впустить его в себя.

Чувство, не обмани меня. Чувство, не подведи.

Чувство, подскажи, как лучше.

Что лучше: сражаться или уступить. Напрячься или расслабиться.

Страх сдвоенным стуком темной крови ударил опять – и червь притворился слабым, вялым, сонным, плывущим по темной, непроглядной воде беспамятства.

Червь поплыл, стал невесомым, превратился во влажный плоский лист на поверхности темно, горячо бьющейся тьмы.

Яма вздохнула. Раз, другой.

Выдохнула из себя страх.

Волна страха накатила опять, и червяк, расслабленный, переставший быть червяком, ставший волной, ямой, кровью, тьмой, подплыл под волну, погрузился, потонул, и ему было уже все равно, всплывет он или нет, будет он жить или нет.

Раствориться во тьме. Растечься кровью по чужим черным жилам.

Распасться на искры. На вздрогги. На страшные удары: тук-тук, тук-тук.

Он старался повторять ритм ударов. Он сжимался: тук! –

и потом разжимался: тук... Он приспособился к биению тьмы. Он приноровился.

Чувство: а если расслабиться так, чтобы открыться, чтобы впустить в себя мать-тьму?

Что, если самому стать тьмой?

И снова непобедимой волной поднялся страх.

Теперь уже не извне: изнутри него самого.

Страх слеп. Страх не может видеть.

Страх вечен: таков страх смерти.

Червь уже жил, и червь боялся умереть. Не быть.

Червь чувствовал, а когда взрывался страх, червь забывал чувство. Червь наслаждался, а когда краснота страха накачивала и топила его, он забывал, что у него есть радость.

Страх убивал все, и, что странно, страх рождал все. Дойдя до предела первобытного, безглазого, слепого страха – вместо глаз оскал зубов, вместо рта железная щель, вместо крика ползущая слизь, – червь сворачивался в кольцо, стремясь укрыться в самом себе – и тут внутри него начинала раскручиваться огненная пружина: она разворачивалась, распрямлялась, и он распрямлялся вместе с ней, сбрасывая с себя страх, как старую кожу, как высохшую чешую, все в нем дрожало, ощущая мир, тьму, жизнь, яму, мать по-иному; тук-тук, тук-тук! – билась кровь матери, и червь жадно ловил телом это струение, обещание будущей встречи.

Стук говорил ему: не бойся, это молот жизни стучит в те-

бя; первый сон стучит в твою теплую кожу; это проблеск сознания напоминает о себе, потому что он помнит тебя, а не ты помнишь его. Не мать-тьма выбрала тебя; ты выбрал ее, ты нашел ее из многих матерей, во mnogой тьме, и, слепни не слепни, ты однажды прозреешь.

Страх – рост живого, а ты живешь, и ты растешь. Ты увеличиваешься с каждым днем. Ты еще не понимаешь, что ты набираешь силу – за тебя это понимает мать. Ты еще не выбрался из ямы – это твоя пещера, твой земляной храм, и ты в нем молишься лишь слепому, яростному току крови, ударам боли и страха. Ты не хочешь родиться, тебе хорошо во тьме; но ты родишься когда-то.

И ты так боишься родиться!

Ты боишься рождения, ибо оно для тебя – смерть. Тьма большая, чем та, в которой ты ползешь, плывешь, спишь и бодрствуешь сейчас.

Ты ощущаешь: в яме даже страх хорош. Все можно вытерпеть.

Ты не хочешь вылезать из ямы. Это твой дом.

Ты готов быть всю жизнь слепым: так прекрасно не видеть.

Червь боялся расти, потому что рост, он ясно ощущал это, мог привести его к бесповоротному; к тому, чего не миновать. И это пугало больше всего.

Что значит жить? Жить – каждую минуту и каждую се-

кунду подвергать себя опасности. Близости смерти. Живой, живущий каждый миг стоит над пропастью. Живой боится смерти. Но ведь все не жили когда-то. Нас не было. Так кто же ты такой, маленький слепой червяк?

Он хотел выползти из ямы, потому что рос и рос.

Он хотел навсегда остаться в яме, потому что не хотел расти.

Рождение для него было смертью: он уже жил, и ему казалось, он жил всегда. И всегда был слеп. И всегда копошился на дне теплой земляной, могучей, страшной ямы.

Прогрызть ход. Проточить лаз.

Пролезть туда, где ты еще не был!

Продырявить страх и вылезти с другой его стороны: а что там?

Пронзить собой время, свернувшееся в кольцо: а может, ты первый проложишь путь сразу в другой век, в иное бытие, минуя огромную, длинную, мучительную дорогу тысячелетий, дорогу тысяч жизней? Время – то же пространство. Прогрызи пространство, и ты выйдешь во времени ином. Червь не прост, он может совершить чудо. Пусть он слеп, он видит то, что все, кто жив и зряч, забыли.

Шли дни. Все менялось стремительно.

Он не только чувствовал – он стал знать: всей кровью, всей кожей.

Он стал видеть: всем собой.

Он видел папоротники и хвощи, то синие, колкие и морозные, то колышущиеся, подвижные, призрачно-метельные. Громады растений качались под ветром, и это он, червь, деревом стоял и качался среди других мощных стволов, раскачивался взад-вперед, монотонно, мерно, печально. Синее солнце брызгало колючими лучами, пронзало слишком нежную кожу. Между голубыми хвощами прыгало, клекотало, плакало и летало то живое, чем червь должен был стать потом, позже, через тьму неведомых времен. Он видел себя, как летит он, растопырив то ли крылья, то ли перепончатые лапы, то ли золотистые широкие плавники. Перелетает через моря, через красные волны, и не боится, что канет в волну, утонет и перестанет быть. Он уже ничего не боялся, посреди такого бешенства, щедрого и жаркого изобилия жизней; а где же страх?

Где страх?

Он рос.

Он вырос.

Сегодня он вырос, он перерос свой страх.

Сегодня он выполз из ямы.

Мать-тьма улыбалась ему. Она держала его на темной и теплой руке, она качала его, и кровь по-прежнему шумела, билась, тревожа его, успокаивая его: тук-тук, тук-тук. Мать, всегда баюкай меня так. Я не вижу, и я вижу. Я боюсь, и я

не боюсь. Я нынче вижу будущий мир, это моя кровь видит. А моя кровь – твоя кровь. Я сегодня это понял.

И червь, радуясь избавленью от страха, услышал голос. Мать спрашивала его. Мать говорила с ним.

И он, дрожа от впервые испытанной радости – слышать мать-тьму, весь обратился сначала в слух, потом в чувство, потом в стук маленького алого сердца под скользкой и складчатой, кольчатой кожей.

Милый, мой милый. Как тебе там?

Кто ты?

Я твоя мама.

Ты моя яма?

Я мать.

Ты тьма?

Я тьма. Я мать. Я люблю тебя.

Что значит любить?

Это значит видеть. Что ты видишь? Скажи мне, малютка. Нет, не говори. Я сама скажу тебе.

Яма разверзлась, раздалась вширь, червь потерял точку опоры, черная, красная почва поплыла у него из-под ног, красные стволы мощных деревьев переплелись, хрустели, ломаясь, звери в чаще хрипели, вопили надсадно, нападая друг на друга, любя друг друга; ночь утверждала власть

тьмы, тьма владела всем – и тем, что умерло, и тем, что готовилось родиться. И во тьме безумием расцветали цвета и цветы. Тычинки осыпали золотую пыльцу на спины хищников и томных, нежных, беспомощных тварей. Светляки загорались и гасли, пронизывая тьму обещанием света. Горели в чаще синие и желтые, огромные глаза, ища, выслеживая, и лапы ступали след в след, – важно не оступиться, не сбиться с шага, не ошибиться, не предать, настигнуть. Прыжок! Это прыгнула жизнь из круга тьмы – в кольцо огня. Огонь везде во тьме: круги и кольца, петли и стрелы пламени, и не уберечься от него. Жизнь, это идет жизнь! Пусть идет!

Не укрыться от жизни. Не спастись от смерти. Вот она, хищная жизнь – красавица, торжествующая, грация зверя, шум листвы многих безбрежных лесов. Жизнь, когда-нибудь ты населишь и перенаселишь землю! И тогда земля попытается изгнать тебя из себя. Земля найдет того, кто способен убить жизнь. Это будет человек.

Как жаль! Ведь человек – это зверь! Человек – это тьма! Человек – это павлин с диким, безумным, многоглазым хвостом; это безглазый упорный червь, что грызет и грызет бедную землю, вспахивая ее вдоль и поперек, удобряя ее слепой слюной, слепой слизью, слепым пометом спрятанной во мраке жизни! Но жизнь – вот она! Она идет!

И она, милая, родная, бьющаяся кровью, бьющая врага наотмашь и обнимающая свою любовь, родилась из ямы.

Из тьмы. Из грязи.

Из крика отвращения. Из боли и мрака. Из насилия и ужаса.

Почему так?

Милый мой, червячок мой, нежный слепой зародыш мой.

Потому что жизнь двулика.

У нее одно лицо и еще одно. Два.

Смотри! Зубастая морда хищника высунулась из тьмы, и он сейчас пожрет тебя. Страшна такая смерть. Первобытный лес красив, но и смертелен. Раздвинь красные хвощи. Растолкай незрячей головой алые водоросли. Разбей ползущим, нервным, дрожащим телом комья моей земли. Я твоя земля, ты из меня родишься, и ты в меня уйдешь. Но пока я твоя тьма. Я мать твоя! И я люблю тебя. Я не дам тебя пожрать никому, никому из бесчисленных порождений моих.

Разве я бог? Я просто тьма-мать. Я не знаю, откуда я взялась. Я породила всех зверей и всех рыб, всех птиц и всех богов, все горы и моря и всех людей; а потом тебя, мой родной. Тепло ли тебе во мне? В нежной и темной яме? Что, страшно? Не бойся. И – бойся! Страх целебен. Без страха ни люди, ни звери не живут. Без страха ты не знал бы, что такое радость.

Без рожденья ты не узнаешь, что такое гибель.

Ты будешь гибнуть. Я обещаю тебе это. Но не бойся. Гибель – не исчезновение. Землю обнял огонь, и она не исчезла. Все, что должно пережить, переживется тобой. Ты вер-

нешься ко мне, пройдя по земле, обогнув ее дважды и трижды, прочертив по ней огромную дугу. Не замкни круг. Воронка тьмы втянет тебя, но ты выйдешь с другой стороны.

С другой стороны любви. С другой стороны ненависти.
Я рожу тебя. Я похороню тебя. Я зачну тебя. Не бойся.

Червь слушал и не слышал. Его крохотный, меньше булавочной головки, мозг застлала красная тугая пелена. Он не мог порвать ее мыслью, ибо он еще не мог мыслить. Он задрожал и стал отвечать на стук крови матери: раз-два, тук-тук, вот я, я тут. Они слили биения, червь становился землей и тьмой, его кровь и его лимфа перетекала в материнскую, а мать питала его собою, утешая, насыщая. Они звучали в унисон, и впервые червь услышал дивную музыку. Он пил музыку и плыл в ней, погружался в нее, ныряя то головой, то хвостом, и тонкие длинные красные нити внутри него, его первая кровеносная система, перевивались подводными зарослями, колыхались, нежно ласкали его изнутри, и музыка текла вдоль по крови, а потом обратно, замыкая круг и вновь разрывая его, и там, где музыка рвалась надвое, оттуда вырывался фонтан любви; а там, где она вновь сплавляла, соединяла рваное, разлученное, разрезанное и разбитое, она звучала тише всего, умирая на глазах, истаивая, сходя на нет, исчезая во вьюжном тумане невесомого, последнего дыхания; так последнее смыкалось с первым, нерожденное – с уходящим, так мать говорила плоду: люблю тебя,

увидимся, потерпи, – так тьма бормотала червю: вгрызайся в меня, питайся мной, ешь меня, пей меня, впивай мои соки, от меня не убудет, а ты должен набираться сил. Ты сильный! Ты теплый. Ты живой.

Ты – живой, слышишь ли ты это?!

Я живой. Я живой.

Я слепой. Я слепой.

Я увижу. Я увижу.

Я боюсь. Я не боюсь ничего.

Плод

Молния мысли. Всего лишь молния.

Показалось? Почудилось?

Сознания нет. Есть только слепящий свет, внезапно, на миг, озаривший глубины, откуда выходит жизнь.

Глубину смерти измерить нельзя: из смерти еще никто не вернулся. Можно измерить лишь высоту жизни.

Зародыш жил сам для себя. Ему не нужны были другие существа. Он чувствовал: он один, и он царь. И он понимал каждой растущей и делящейся клеткой: он не один, его питают, лелеют, ласкают, кто? Один? Одна? Много? Целый народ? Целый мир?

Его мир звался мать, и он чуял: она одна, и он один. Сцеплены крепко, нежно, воедино. Они одно, и мать мыслит, а мысль в нем отдается эхом. Эхо света. Отзвук огня.

Зародыш, катаясь крошечным колобком в матке, постепенно из червяка становился воспоминанием о человеке. Вырастали культи рук. Выпрастывались наружу зачатки ног. Из головы медленно, важно появлялось будущее лицо: мерцал звездой нос, вздрагивала щель рта. Под кожей бугрились, вздувались волокна первых мышц. Ты будешь сильный! Смелый! Ты сам себе царь, и сам себе червь; ты слаб, и ты силен; ты можешь все, и ты не можешь ничего.

В червяке просвечивал человек, и человек опять вползал

в червя.

Червь хорошо знал, где холод, а где тепло; человек тянулся к свету. Червь, пугаясь, стремился скрыться, зарыться в красное, темное, кровавое – от сотрясений материнского живота, от наползающего тучей черного голода; человек доверчиво оборачивался к тому, что звучало извне – к музыке, а не к страшному грохоту, к песне, а не к клекоту хищных птиц.

Червь и человек боролись в зародыше, и человек побеждал червя любовью к свету.

Зародыш кровью понимал, когда мать в ужасе, а когда весела. Он знал, когда она радуется, и слышал, когда плачет. Только утешить ее он не мог. Он плыл в соленом алом океане вне желаний и жалости, сам безжалостный и безутешный. Разве червь может плакать?

Но вздрагивал от страха и плакал человек, уже имеющий глаза; еще закрытые, под тяжелыми выпуклыми уродливыми веками, инопланетные глаза уже набухали слезами, когда рыдала мать, и никто не вытирал ему соленых слез – они тут же смешивались с безбрежным кровавым океаном, не знающим закатов и рассветов, и чувство обращалось в улыбку бесчувствия, а бесстрашие – в бесстрашие, и все вместе перетекало в сон, опять в сон, ибо зародышу все время снился сон – один и тот же сон с разной окраской: это играл и переливался в нем занебесный свет, до которого была еще целая жизнь и целая смерть.

А зародышу казалось – до света рукой подать.

Он, пытаясь достать свет, шевелил подобием ручки, топырил подобие пальчиков; а потом прижимал культию к гладкому длинному тельцу – у червяка нет рук и ног, он быстрый и скользкий, ему и так хорошо и привольно ползать.

Люди в мире строят дом. Зародыш в матке строит скелет, чтобы жить в нем.

Скелет, остов человека. Основа, на которой крепится все, что мягко и податливо; то, что дает нам иллюзию нерушимости, возможность устоять и выстоять. Крепче скелета только железная арматура, выдуманная человеком.

Зародыш растил внутри себя кости: креп череп, отвердевал таз, выгибались звучащие ребра. И все же это были не кости, а косточки; не скелет, а дымный его абрис, бесплотный призрак.

Сегодня дым, а завтра железо. Сегодня пустота, а завтра густота.

Зародыш не знал, что он состоит из пустоты; плоть сгущалась в нем день ото дня, застывали, как вода на морозе, кости, вздувались мышцы, он забывал, как мучился, когда был червем, как трудно ему было доползти до завтрашнего дня. Скелет делал червя человеком, и больно было червю терять гибкую бескостную свободу, но радостно было зародышу ощущать свою растущую, неведомую прежде силу. Сила! Вот счастье. Быть сильным. Быть здоровым. Быть не таким

как все. Как все черви.

Разве черви смотрят глазами?

Разве они слушают и слышат?

Разве они улыбаются?

И разве черви помнят?

У зародыша рождалась память.

Это было так непонятно, сумрачно, смутно.

Где-то далеко, на дне не прожитых им столетий, шевелились щупальца корней, лепетали детеныши вымерших животных. Синие молнии ударили из туч, испепеляя камни. Он помнил кровью, а кровь помнила его. Возможно, он повторялся, и это зачатие было не первым в его судьбе; его зачинали другие отцы и вынашивали иные матери, и счастливо было заново биться булавочному сердечку, осознающему новую дорогу.

Он помнил то, чего помнить было нельзя: крики убийства и дикий хохот запретных ласк, хоботы странных громадных зверей и блеск широких, без берегов, слепящих, солнечных рек. Он помнил, что жил, но мыслей не было, равно как и воспоминаний; лишь одна память обнимала его солью и сладостью околлоплодных вод, и он глотал память, насыщаясь впрок, чтобы потом, родившись на свет, забыть все и начать сначала.

У зародыша возникало лицо.

Это было так странно и прекрасно.

Где рот, там и десны; где десны, там и зубы.

Это не настоящие зубы; это мечта о них, тревога о них.

Молния мысли – и твердеют кости. Нежные птичьи косточки, пух птенца, сочленения крыльев, тяжи и склепки лап и суставов. У червя нет костей! Они есть только у человека.

А еще? Еще у кого живого есть первые, самые хрупкие, снящиеся кости?

Зародышу снилось: он выползает из оболочки червя, из змеиной кожи, и под уплотняющейся кожей застывают жесткой музыкой косточки – на них потом жизнь сыграет симфонию боли. Сама кость не болит, там нервов нет.

А что такое нерв?

Это когда концом иглы дотронутся, а ты кричишь. Когда лезвием разрежут мышцы, кожу, красноту живого тела – а ты плачешь.

Зародыша еще никто не пришивал к телу матери иглой боли. Он, лежа в гибких красных ладонях плаценты, не знал, что такое боль. Он не знал, когда у него отпал хвост; а может, не отпал, а отломился, а может, не отломился, а превратился. Во что? В две скрюченные ножки?

Значит, надо проститься с червем. Все есть постоянное и немедленное превращенье. Зародыш превращался ежеминутно и ежесекундно. Каждый миг становился другим. Иным.

Он себя не помнил прежнего. И мать не помнила.
Мать даже не знала, что он уже живет в ней.

Про зародыша все знали околоплодные воды.
Вода. Океан. Почему мы так хотим туда вернуться?

Потому что мы все вышли из довременного океана – из прозрачного пузыря, в котором мы плавали и плескались, стенки которого трогали кончиками слабых, как ростки ириса, пальцев; вынырнули из воды, питавшей нас и поившей.

Воды, в которых плыл зародыш внутри гибко и капризно меняющего форму пузыря, позволяли ему кувыркаться и вертеться – он все равно был крепко привязан перевитой веревкой пуповины к матке, не удрать, не вырваться. Воды плескались беззвучно, слоились, перекачивались, наклоняя малютку в разные стороны. Он переворачивался, светясь боками, головкой, ростками рук – так вспыхивает и светится плавающая морская звезда внутри елочного прозрачного шара. Для бога он был игрушкой, но для матери все было серьезно и важно: ее мозг не знал о нем, а матка знала все – матка, жаркая печь, дышала и хранила, оберегала и грела.

Матка знала – до рождения мира под животом бога качались и плыли околоплодные воды.

Как приятно, вольно двигаться в воде! Ты еще зародыш или уже плод?

Ты уже вырастил себе ножки и ручки, и на них уже шевелятся маленькие смешные пальчики. Еще не можешь ими

хватать. Да и хватать-то в утробе нечего. Она так богата пустотой, твоя утроба. Твой прозрачный, полный, пустой дом, наполненный прозрачной соленой, сытной жидкостью. Пальчики, резвые пальчики! Это потом, о, потом вы станете ласкать и царапать, давать пощечины и лепить снежки. Вы станете шить и пришивать – дыры требуют заплат, а рваные раны – тугих швов. Но сейчас вы беспомощно шевелитесь в прозрачной воде, пальчики. Не пальчики, а плавники.

Можно взглянуть в его лицо. Оно прекрасно. Это уже не безглазая голова червя. Глаза, что торчали по бокам круглой тяжелой слепой головы, медленно, неуклонно сближаются. Где веки? Их еще нет. Крошечное личико, громадные глаза: лицу трудно нести на своей тонкой и легкой тарелке такие огромные плоды. Между глаз выступ. Это нос, и зародыш им уже дышит. Он дышит всем телом: вода вместо воздуха, и живая вода входит в каждую пору, в каждую клетку, втекает в глаза, забивает ноздри, укутывает в сонное соленое одеяло. Что ты там скорчил рожу? Что говорит твое лицо?

Оно кричит: я уже не червяк!

Оно смеется: ты же видишь, я уже могу улыбаться!

Это еще не улыбка. Это ее попытка.

Плод так веселится.

Его сердце бьется часто и горячо, нельзя различить удары.

Сквозь невесомый шелк полуулыбки просвечивают зернышки зубов. Губы, вы еще не появились! Вы еще только растете! Это рот, что будут так страстно целовать, искать

в темноте спальни. К нему будут приближать ухо, чтобы слышать последнюю просьбу. Когда-нибудь, плод, ты станешь человеком на смертном одре. Бейся, сердечко! Тебе назначено так часто и отчаянно биться. Ты живешь в Мире Ином. Плынешь под водой, и дышишь жабрами, и дрожит сердце, как цветок на ветру. Но ты ребенок! Ты не игрушка! Тебя нельзя сломать, а потом починить! Ты уже перестаешь быть зародышем. Ты превращаешься в плод. Висишь на ветке пуповины и зреешь; и вот уже нет червя, он уполз навсегда, а когда это случилось, никто не заметил.

А может, ты игрушка. В тебя играет жизнь.

В тебя играет равнодушное время, бесстрастно и бесконечно улыбаясь.

В тебя играет смерть, поднимая тебя на ночных руках, внимательно рассматривая: мальчик ты или девочка? Тебе это все равно, а смерти не все равно: кем ты будешь лежать в последней деревянной, обитой ярким атласом, жесткой постели; в черном платье с кружевами или в строгом смокинге, в белом снежном саване или в смешном стареньком штопаном пиджачке. Что такое пол? У червя нет пола; он есть лишь у человека.

Вот они, очертания твоего страдания, если ты женщина.

Рисунок твоего счастья, если ты мужчина.

Раздвинешь ты ноги для горя или вытянешь струной для наслаждения – неизвестно.

У плода, похожего на скрюченный стручок, ровно в середине стручка образовалась выпуклость. Через несколько дней она станет выступом, внутри которого будет жить слишком много жизней. Мужчина несет в своем длинном сосуде миры; выплескивая сперму, он дарит женщине потерянные времена.

Плод радовался тому, что он становится мужчиной. Точно так же он был бы счастлив, если бы коготь бога процарапал внизу его живота женскую жалкую щель; бесполой червь обратился в мальчика, и мальчик торжествовал, чувствуя волю и власть.

Напрячь первые мускулы. Ощутить резкую, хлесткую боль по ходу первых нервов. Обернуть под струящейся, голубой, серебристой, небесной водой едва рожденное лицо – плоский нос раздувает ноздри, под закрытыми веками сонно, грозно ворочаются огромные белки, ямки ушей чернеют, готовясь к приходу слуха. И только рот скорбно молчит, сжимаясь в ниточку, немея, соглашаясь, заклиная.

Белка

Как налетел самолет, женщина не помнила.

Ей казалось: гул был всегда.

Гул ввинчивался в уши, поднимался изнутри, из-под сердца, из поджатого от голода живота. Сотрясал мышцы, выламывал кости.

Она искала глазами, где бы спрятаться. Самолет шел на бреющем полете, совсем рядом мерцало серое гладкое брюхо. Брюхо чиркнуло над ней, воздух разорвался с оглушительным свистом. На миг Руди перестала слышать.

Поняла: поздно.

Поздно искать убежище.

На землю падать, прикрывая голову руками, поздно.

Она осталась стоять. Стоя встречать смерть.

Она про нее не думала – некогда было. И картины жизни не промелькнули у нее перед глазами. Не возникло и не исчезло ничего; великая, почти счастливая пустота раскрылась внутри нее. Она стала полым сосудом, и вакуум под ребрами не заполнялся ни серым клубящимся дымом ужаса, ни хрустальным спокойствием последней молитвы.

Ни отчаяния. Ни терпения. Ни созерцания. Ничего.

Перед разрывом снаряда она стала ничем, и вокруг нее мерцало ничто.

Взрывная волна свалила ее с ног. Она упала и ощутила

боль. Ползти прочь не было сил. Лежала, протянув руки вперед, и пальцы бессознательно скребли землю, и под ногти набивался песок вперемешку с черноземом.

Последняя воля толкнула ее вперед. Она подняла голову. Темя ощутило сопротивление горячего воздуха – среди лютого предснежного холода поздней осени.

«Осень, и тебе жить поздно. Ты сейчас умрешь, осень».

Руди мучительно, долго переворачивалась на бок. Разлепляла глаза, засыпанные землей.

Земля была всюду – над ней и под ней. Она сама стала землей. Может быть, она была уже в земле, она не знала.

Гул не кончался. Гудела земля. Гудело ее раскаленное ядро. Руди захотелось туда, в глубину, где нельзя смотреть и видеть, – в укрытие, под защиту, в слепоту, в тепло. Она напрягла мышцы ног и поползла, отталкиваясь босыми пальцами от круглого разъятого бока земли.

Чуть не свалилась в пропасть.

Пропасть? Где? Какая?

Она лежала на краю огромной воронки, вырытой взрывом. Одна половина ее тела уже катилась, скатывалась в черную, сыро и терпко пахнущую земляную бездну; другая пальцами, ногтями, локтями цеплялась за край бытия, но неумолимо наклонялась земляная равнодушная ладонь, стряхивая ее, бесполезную козявку, с себя – внутрь себя, во чрево, в раскрытый черный рот.

Она тоже раскрыла рот, как галчонок, желающий гром-

ко пискнуть в уютном гнезде – а уже летела, вылетала вон из гнезда, валилась наземь, валилась внутрь, в черный зев, и он ждал, готовясь и радуясь: вот сейчас ее вберет, поглотит, впитает, упокоит.

Катилась вниз, раззявив рот в беззвучном крике, да ведь и некому было слышать ее крик, даже если бы он и вырвался из груди: на сто миль впереди – никого, позади – никого.

Пустота не в ней. Пустота вовне.

Падая, она взмахивала руками, дергала ногами, пытаюсь во время бесконечного падения найти опору, почувствовать выступ, выбоину, щель, торчащий камень: ничего и нигде, и лишь одно оголтелое, безоглядное падение, и свист ветра в ушах, и больше ничего.

На мгновенье почудилось: это она – летчик в том самолете, и она сбросила бомбу на черную, траурную землю.

Все. Она уже на дне ямы.

Летела вниз несколько секунд, а ей показалось – целую жизнь.

Лежала внутри земли.

Скрючилась. Ноги сами согнулись в коленях; сами подтянулись к животу. Руки сами, согнутые, угловатые, сухие ножки кузнечика, крепко прижались к бокам, к худым ребрам. Шея согнулась тоже, выгнулась, и голова сама собою упряталась между колен; наружу торчал только слепой глухой беззащитный затылок.

Так лежала она.

Так лежат дети у матерях в беременных животах.

Поза плода в утробе. Вечная, дожизненная поза.

Лежать так. Не лежать, а плыть. Не плыть, а лететь.

Вот она и в земле. Вот она еще не родилась.

Не умирать и не рождаться. Зависнуть между смертью и жизнью.

Скорчиться, застыть между обитаемых миров.

Какой из миров истинный? Тот ли, где ты жила когда-то?

В котором притворялась девицей Савенко, и тебя дразнили в школе за немодные коски и толстую попку, за старый пуловер с заплатами на локтях, в котором ты, помогая матери, стояла у плиты и пекла на рождество пироги и торты, готовила утку в яблоках?

Или этот, где кончилось все, что было конечным, и началось то, чему теперь бесконечно, тоскливо длиться и длиться?

Земля нависала со всех сторон. Земля набила в рот, и Руди выплюнула ее. Внезапно ей захотелось есть землю; это странное сумасшедшее желание обуяло ее, она вытянула шею и куснула зубами свежий влажный, холодный земляной ком. Пожевала. Опять, теперь уже с отвращением, плюнула. Ее чуть не вырвало, будто бы она грызла плоть покойника.

«Все врут, что земля живая. Она мертвая. Мертвая и противная».

И тут, будто противореча ей, земля вокруг нее, под ней за-

шевелилась. На минуту ей показалось: начинается землетрясение. Она испугалась и обрадовалась одновременно: значит, сейчас все и вправду закончится, земляные слои сдвигаются и погребут ее под собой, и она задохнется!

Каково это – задохнуться? Наверное, это очень страшно. Внутри, в разрываемых безвоздушьем легких, будет очень больно.

«Не страшнее, чем сгореть».

Отчего человек так боится боли? Боль – лишь воспоминание о боли. Ничего больше. Когда-то ребенку было больно, и он это запомнил. А потом, когда ему сделали больно снова, он это вспомнил. Только и всего.

Она еще теснее скрючилась, сжалась в комок. В земляной комок.

Она – тоже земля. Прах. Ничего, кроме праха.

Бог сейчас может слепить из нее, податливой и земляной, нового человека; но Он не будет этого делать. Он очень устал. И отвернулся от нас.

Лежать в позе зародыша; лежать минуту, другую, а земля будет вокруг плода гудеть и шевелиться.

Земля, великая мать.

До женщины дошло: мы все, ходящие по земле, топчущие ее беспощадными ногами, выросли из нее, как слабые, жалкие белые и черные ростки; и настанет день – мы все ляжем в нее, каждый ляжет, раньше или позже, и так было всегда, и так будет всегда. Тогда зачем же сетовать на войну? Вой-

на приходит для того, чтобы разом взять с ладони земли людей – и отправить в ненасытную сырую утробу, и там опять зачать, а потом опять родить. Все так и задумано. Все верно и непреложно.

Земля гудела и двигалась, а женщина внезапно успокоилась. Холод сменился ласковым теплом, идущим изнутри, а после и снаружи. Будто она сама, жалкий плод, катясь внутри воронки круглой живой планетой, разогревала скорбную черноту.

Нос стал различать запахи. Вот доносится запах дождевых червей – они зимуют глубоко, не докопаешься никакой лопатой, под самыми глубокими корнями, там, где рождается вода. Вот наплывает аромат перегнивших листьев, птиц и животных – то, что летало, бегало, пело, выло, мяукало и царапалось, теперь превратилось в гумус, в питательную черную кашу. Все превращается. Все движется, падает и восстает. Скрючься сильнее, крепче себя обними. Ты не свалилась в яму! Ты вознеслась!

Донесся еще один, тревожащий запах. Запах корней.

Руди зажмурилась. Шумно выдохнула воздух. Не нюхать. Это ей снится.

Зачем искать глазами корни? Цепляться? Лезть? Вылезать? Напрягаться? Отчаиваться?

Здесь так покойно. Так черно и тепло. Мать-земля обнимает ее. Баюкает на черных руках.

Качает в своем необъятном животе. Она всего лишь эм-

брион. Окаменелый, холодный человеческий червяк. Она спит. Глаза закрыты. Руки скрещены на груди. Ноги согнуты и поджаты. Она лежит внутри земли и обнимает самое себя. Она умерла. Она еще не живет.

А она хочет жить?

«Я хочу жить? Я... хочу...»

Женщина так сильно вжала локти в бока, а колени в ребра, что они чуть не хрустнули. Превратиться в ком ноябрьской земли. В вывернутое из земли взрывом черное сырое тесто. Кто хочет, чтобы она жила?! Ей так хорошо в яме!

«Я хочу пить. Я хочу плыть. Я хочу... знать...»

Запах корней становился все острее. Настойчивей. Нестерпимей.

Воля, сильнее ее сведенных подземным объятием мышц, разогнула ее хребет. Она повела головой и открыла глаза. Земля тихо осыпалась со скатов ямы. Воронка странно углубилась, и ночное небо над ее головой нежно мерцало.

Руди впервые увидела звезды.

В разрывах туч, среди рваных, мечущихся по ветру серых и черных лоскутов призрачно светилось небо – и это тоже плыл ветхий лоскут, звездная тряпица, парчовая заплатка на грязном военном мешке. Руди глядела неотрывно. Звезды складывались в манящие узоры, свивались и развивались, терялись, падали наземь, как цветы из небрежно сплетенного венка, вспыхивали, дразня. Кусок истлевшей священной парчи дрожал и бился, и женщина понимала – вот-вот его

на части разорвет упрямый ветер. И оборвется нежданное блаженство.

Как прекрасно смотреть на недостижимое! Туда, где ты не будешь никогда!

Запах сырых корней нарастал.

И женщина попыталась расслабить каменное, сжавшееся в черное ядро, в чугунное зерно голодное тело.

Ей это удалось. Руки и ноги ощутили себя живыми. Онигнулись и вздрагивали. Глаза покатались вбок двумя тусклыми кабошонами. Глаза вскинулись, побежали вверх, все вверх и вверх. Щупали непроглядную тьму. Гладили выгибы земли. Вскапывали дно ямы. Искали.

Глаза искали корень.

Верх искал низ.

Низ искал верх.

Душа искала выхода.

Женщина увидела выход из земляной утробы не глазами, а душой; глаза ослепли, и даже свет далеких звезд не мог озарить глубину теплой темной смерти, в которой тело, не утравшее душу, пребывало.

Слепые видят, а зрячие погибают в неведении. Глухие слышат, а слышащие гибнут в глухоте, не вынимая из ушей тяжелый воск обмана и безумия.

Безумные оказываются мудрее всех – они знают, когда все вокруг вопят: «Нет выхода! Выхода нет!» – где же выход.

Яма углубилась, вздрогнула, земля качнулась. Земля поняла: женщина перехитрила ее. Земля почувала: женщине доведется распрощаться с ней, они разорвутся, и человек ползет к звездам, к золотой и красной вышивке небесной парчи, а яма останется одна. Опять одна. И будет ждать другого, кто мирно, смиренно ляжет в нее и скрестит руки на груди, и подождет ноги, и закроет глаза, щеночек, котенок, зародыш иных времен.

Белый корень. Вот он, чуть качается над головой.
В ночи, во тьме земли – белая молния.

Руди из последних сил ухватила за торчащий из земли белый, покрытый черными влажными комьями корень. Громадное дерево без листьев, живое или мертвое, возвышалось над ней, лаская ледяными ветвями ночь. Верх поменялся с низом; корень стал рукой, тайное стало явным и спасительным. Руди ползла вверх, из ямы, все вверх и вверх, и земля осыпалась под ней, под ее бедрами и коленями, и не было мыслей, кроме одной: вверх. Вверх.

«Я хочу... быть. Я хочу... стать...»

Ее голый живот – куртка и рубаха задрались, острые камни ранили нежную кожу под ребрами и вокруг пупка – ощутил плоскую, ровную землю, и больше ничего не съезжало и не плыло под ней, отчаянно бьющейся пойманной рыбой.

Еще миг, другой, третий женщина лежала без движения.

Распластанная. Раскинуты руки и ноги. Сверху, с высоты, на которой летел самолет, ее было видно очень хорошо; она напоминала букву Х. Вдыхала и выдыхала. Воздух промывал ее легкие, не задерживался в ней. Постепенно пустота внутри заполнялась страхом и радостью, облегчением и удивлением. как! Она жива! Спасена!

«Зачем я сама себя спасла. Бесполезно это все».

Застонала. Подтянула колени к животу.

Так лежала – опять в позе младенца в утробе матери.

«Лежу, зародыш. Я умерла и еще не родилась. Земля – утроба. Держит меня, не прощается со мной. Я выползла? Я вылезла?! Из чего и куда? Ночь. Огни небесные. Я одна. Я замерзну. У меня ни еды, ни питья. У меня ничего. У меня только я. Куда мне ползти? Куда идти?»

Лучше лежать, прошептала женщина себе. Лучше не двигаться.

«Так быстрее замерзнешь».

Криво улыбнулась своему собственному приговору. Разогнула руки и ноги. И правда застыла, обратилась в ледышку. Надо встать. Двигаться. Приседать. Тереть ладонями колени. Хлопать себя руками по плечам, разогревая, пробуждая. Оживляя.

Она встала на колени. Потом на четвереньки.

«Я животное, я без разума. Я сейчас вот так побреду по дороге, и буду мычать, и рычать, и вопить. И никто не заткнет мне рот».

С трудом разогнула спину и встала. Голова закружилась. Она хватала скрюченными пальцами воздух и звезды. Звезды проскальзывали у нее между пальцев и падали ей под ноги. Не удержалась. Упала. Опять поднималась, долго и тяжело. Качалась пьяно. Вся в земле. Пахла землей. Рождена землей. Вылезла из земли, а еще хочет в небо!

Стонала. Стояла. Ловила глазами падающий свет.

Ощутила голод. Желудок свело. Проглоченная земля горела внутри. Звезды прокалывали ей кожу длинными морозными иглами. Она видела их спиной, лопатками, ступнями. Дочь земли, как тебя зовут?

Обводила взглядом окрестности. Яма чернела за спиной. Туда она боялась смотреть.

Впереди расстилалось голое зимнее поле. И оттуда налетал тяжелый, надмирный страх.

Она скосила глаза. Сбоку от нее, странно и невозможно, один посреди пустынной равнины, стоял дом. Возвышался рядом с ямой. Разрушенные стены, осыпаясь, впускали взгляд внутрь. Комнаты, анфилады, залы, зальчики. Спальни и спаленки. Кухни и камины. Еще миг назад здесь жили люди.

Миг? Сколько времени прошло со дня смерти мира?

Если бы она знала. Она ничего не знает. Кроме того, что у нее плохая для зимы одежда и нет обуви, и нет еды, и нет жизни. Яма, зачем ты выплюнула ее? Она ела землю и выплюнула землю; а земля, обидевшись, выплюнула ее, как

кость, на дорогу.

Вот дом, и надо зайти в него. Земля недаром его тут оставила. Для нее. Для нее одной.

«Все для меня. Я одна тут царица и владыка».

Медленно волоча ноги, пошла. Ночь вывездила землю узорами изморози. Да, это уже пришла зима: там и сям в распадах и лощинах лежал снег, наметенный вчера, и он не таял. И листья уже не бились на ветру. Голизна, белизна и чернота. Черно-белый гроб, а в нем земля, и улыбается бесстрастно.

Руди подошла ближе к дому. Взрыв пощадил его – одна половина стала руинами, а вторая сохранила и остов, и архитектуру. Дом просматривался насквозь, и женщина подумала: какой, оказывается, целенький, глядишь, и еда цела, может, тут где-нибудь, в укромном углу кухни, в шкафу, найду что-нибудь забытое, съестное. Живот подвело от голода. Еще она подумала о том, что если встретит на дороге зверя, то нападет на него, убьет его, освежает и зажарит. Зажигалка! Она еще осталась у нее. Вот она, в кармане куртки. А вон сухие ветки на земле валяются. Земля, пошли мне подарок! Животное! И я так буду рада!

«Чем ты убьешь его? У тебя ни ножа, ни ружья. Ни кирпича. Ни петли».

Она оказалась перед дверью. Долго стояла, прежде чем войти.

Как раньше, в мирное время, взялась за медную ручку, в виде головы кудрявого мощного быка с кольцом в носу. Потянула. Дверь открылась медленно, с длинным душераздирающим скрипом.

Руди переступила порог.

Она стояла в просторной прихожей. Вместо потолка – звездное небо. Крыша обвалилась. Бессознательно щелкнула выключателем. Тьма не рассеялась. Она усмехнулась: электричество умерло, как и все остальное. Петля тоски быстро и бесповоротно затянулась на горле, и, чтобы не задохнуться, она позвала:

– Эй! Есть кто-нибудь!

Даже эхо не ответило. Женщина, поднимая ноги, будто шла по болоту и искала безопасную кочку, куда наступить, пошла по коридору. Дверь налево, дверь направо. Много комнат. Интересно, эта квартира для одной семьи, или тут жило много людей? Распахнутые двери кладовок, подсобок. На полу валялись велосипеды, колеса, старые телефоны, клубки медной проволоки. Лопаты. Грабли. Ведра. Компьютеры. Погасшие экраны стеклянно отсвечивали, отражая старую мебель, сухие цветы, Луну в окне. На боку лежал старинный латунный чайник, рядом с ним электрический. Руди, исполняя внезапное желание, вошла в открытую дверь и оказалась в комнате.

И оступилась, и чуть не упала.

Наклонилась. Под ногами валялась игрушка. Огромный белый плюшевый заяц. Она взяла зайца в руки. Подбросила в воздух. Поймала – так ловят, подбрасывая, ребенка. Прижала к груди. Ей показалось – заяц жалобно пискнул. Она еще раз крепко сжала игрушку в руках. Заяц молчал. Со вздохом Руди посадила зайца в кресло.

Огляделась. Она стояла посреди детской, полной разброшенных там и сям игрушек. На ковре лежали пластмассовые жирные гуси и резиновые гусеницы. Толстый и веселый Кот в сапогах восседал на пианино. На диване сидели, валились друг на друга матрешки и ваньки-встаньки, утенок Доналд и длинношеее жирафы, королевны и королевишны в атласных платьях с кружевами, Дюймовочка и синьор Помидор, Питер Пэн и Мэри Поппинс. В углу торчала детская коляска, вся обвешанная разноцветными погремушками.

Женщина сделала шаг к пианино. Откинула крышку. Блеснули клавиши: белые – желто, мирно, медово, черные – дегтярно, угольно, угрожающе. Руди подняла руку и осторожно, нежно положила на клавиатуру. Потом ее палец скользнул вниз. Она нажала клавишу и стала слушать, как рождается, потом гаснет тонкий, огненный звук в холодной ночи, в доме без потолка и без крыши; как он умирает, уходит, прощается с ней.

– Прощай, – сказала она звуку, и другой извлекать не стала.

Опустила голову. Увидела у себя под ногами еще одну иг-

рушку.

Белка. Рыжая бархатная белочка с корзинкой, полной матерчатых орешков.

Наклонилась. Подняла белку с пола. Заглянула ей в черные бусины-глаза. Игрушка и человек с минуту смотрели друг на друга, и человек не выдержал первым. Руди уткнулась лицом в бархатную нежную белку. Она пахла забытыми женскими духами, забытой манной кашей, пылью и детским киселем.

Руди целовала белку, осыпала поцелуями и плакала. Она так плакала, как никогда в жизни; впервые плакала светлыми, ясными, настоящими слезами после прихода смерти. Прижимала тряпичную белочку к груди, обнимала, – так горячо обнимают только живое дитя, живую мать.

Она обнимала и целовала, касаясь истлевшего, выцветшего бархата горячими губами, всех тех, кто жил когда-то тут, кто ушел отсюда – вмиг или постепенно, без мук или страдая, теперь уже никто не узнает. Всех детей – и только одного ребенка, кто нянчил эту белку на груди, кормил ее манной кашей из своей ложки, укладывал с собой спать.

И вдруг ей губы обожгла боль. Она отпрянула. Отодвинула игрушку от себя. Из потертого бархата высовывалась острая швейная игла. Возможно, белку уже использовали, как держатель для иголок. А может, бабушка по нечаянности воткнула иглу, штопая внуку носочки, да так про нее и забыла.

По губам Руди, по подбородку текла кровь. Она вытерла

ее тыльной стороной ладони. Осторожно вынула иглу из белки. Воткнула в край ковра.

Игла пронзила белочкино сердце. И вот иглу вытащили. Теперь в сердце у милой игрушки рана. Она еще чувствует. Она еще живет. А Руди?

Женщина улыбнулась уже спокойнее, встряхнула белку и поцеловала ее в пуговичный нос. Выронила из рук на пол. Нагнулась, опять подняла.

– Белка, – сказала женщина игрушке, – ты не отпускаешь меня. Позволь мне переночевать у тебя в домике! Я тебя не стесню.

Она взяла белку на руки, укачивая, как сонного ребенка, и, кажется, напевала ей колыбельную.

– Мы с тобой... вдвоем... очень весело... живем...

Так, с белкой на руках, она побрела по комнатам. Сначала не глядела по сторонам. Глядела под ноги.

Потом стала обводить глазами все, что вставало вокруг.

Глобус. Ажурная мантилья на спинке кресла. Карта мира на стене. Старинный подсвечник на три свечи, а за ним – семисвечник, и огарок воткнут в центр. Свиной обгорелый хвост фитиля. Книжный шкаф. Разбитые стекла. Книжки вывалились, и вместе с книгами ноты, и ноты открыты, странные, длинные как простыня, и сиеной жженой оттиснуто на пожелтелой, как кожа старика, истонченной бумаге: «JOHANN SEBASTIAN BACH. ORGELWERKE». Черные муравьи нот расплзались по нотоносцам, карабкались

по скрипичным и басовым ключам, вылезали вон, за страницу, ползи на паркет, на мусор, на пепел.

Руди присела на корточки. Крепко держа белку, вглядывалась в ноты. Когда-то ее учили музыке. В другой жизни. А потом она умерла.

Она глядела, ноты ползли и плыли, вползали в пустые зрачки, и постепенно, такт за тактом, она начинала слышать внутри, под сердцем и под черепом одновременно, шевеление густых и нежных звуков. Тонко щебетали птицы. Ныла и плакала флейта. Басом пел старый печальный фагот, плелась вязь забытых выюг и канувших во тьму метелей. Лилии снега расцветали и гасли. Мать укутывала ребенка в серую козью шаль. Руди глубоко и прерывисто вздохнула, как после рыданий. Держала белку одной рукой, а другой гладила звучащую желтую старую простыню. Надо было перевернуть страницу, а она не могла.

И музыка угасла сама собой.

Женщина разогнула колени. Шла дальше по разбомбленному дому. Вещи обступали ее. Гладильная доска, обшитая льняными полосками, и громоздкий утюг на ней. Из-под утюга до полу свешивается рубашка. Мужская, чисто выстиранная рубаха в клетку. Еще не выветрился фиалковый запах отдушки. За стеклами буфета сервиз. Небогатый, фаянсовый, со щербатыми тарелками и треснувшими чашками. Люди, кто жил здесь, любили застолья и не жалели посуду.

Одна из чашек на столе. Сбоку написано неумелой, са-

модельной кистью, масляной краской: «HAPPY BIRTHDAY TO YOU». Руди взяла чашку. Потыкала ею в морду белке.

– Пей, пей, дитя мое, чай горячий.

Колода карт. Бутылка вина. О, да тут их много. Целые и початые. Штук пять. Нет, шесть. Хорошее красное вино, судя по этикеткам, французское и аргентинское.

Женщина протянула руку. Бутылка сама скользнула в нее. Она пила долго, запрокинув голову. Оторвала горлышко от губ с растерянной, сладкой усмешкой.

– Если есть выпивка, то есть и закуска.

Ноги сами выбирали дорогу. Перешагивали через кирпичную крошку и обнаженные трубы. Кухня, и полотенца на гвоздях, и распахнут шкаф, как взрезанный хирургом беззащитный живот. Руди хлопала дверцами шкафов, вслепую вела ладонью по полкам. Ничего. Ни пакета. Ни коробки. Ни мешка с крупой. Ни банки. Ни старого подсолнечного масла в немойтой бутылки.

– Вино есть, а жратвы нет. Плохо дело, белка. Мне нечем тебя покормить.

Вела, вела глазами вверх и вбок.

– Как ты уснешь голодная? Ведь не уснешь же.

Наткнулась глазами на подоконник.

Под подоконником тоже шкаф. Он закрыт. Намертво? А может, это тайный подземный ход?

– Белочка, ты хочешь сказку? Я расскажу тебе сказку.

Женщина рванула ручку на себя.

И прямо ей на босые ноги вывалились коробки и банки, кульки и свертки, о которых она несбыточно мечтала.

– О, вот это да...

Она посадила белку на подоконник.

– Сиди, зверек! Поглядим на богатство!

Села на пол и стала подгрести к себе то, что продлевало ей жизнь.

Никому не нужную жизнь, и ей не нужную тоже; но при виде еды у нее потекли слюнки, и улыбка радости и благодарности покривила голодный рот, и, подмигнув белке, она выкрикнула:

– Сейчас! Быстро все откроем! Нет проблем!

Консервный нож сам упал в руки с края стола. Белка пристально, холодно глядела, как дрожащая от жадности, голода и счастья женщина втыкает нож в серебристую жесть и кромсает ее, режет, вспарывает, как брюхо толстокожей акулы.

Она глядела, как женщина, выковыривая из банки пальцами рыбе мясо в томатной подливке, жадно, давясь, ест, запихивая в рот все новые и новые куски, блаженно жмурясь, урча и постанывая, шумно выдыхая, и опять запускает пальцы в красный соус, и облизывает их, плача и смеясь, и рыба падает у нее из рук на пол, пачкая ей завернутые до колен джинсы и брезентовую куртку, и валится на голую лодыжку, и падает возле босой ступни, и женщина, ахнув жалостливо, нагибается, поднимает уроненный на паркет красный кусок и отправляет в рот, и жует, и снова щурится, как от солнца.

А вокруг ночь, и звезды на небе, в проеме разбитого взрывом потолка.

Белка терпеливо глядела, как женщина ест. Она дождалась, пока Руди наестся вдоволь.

Женщина поставила пустую банку на подоконник. Обрезала жестью палец. Слизнула кровь.

– Ох, я нечаянно. Воды нет, белка? Запьем вином.

Поднялась, шатаясь.

– А тебя-то я не накормила! Ах, какая плохая мамочка...

Открыла еще одну банку. Кровь текла по запястьям, по наклейке: «ЗОЛОТАЯ КУКУРУЗА». И кукурузу ела пальцами, мурлыкая; и брала зерна, и совала в бархатный ротик белки, насыщая ее, угощая, приговаривая:

– Ешь ты, ешь, на том свете-то не дадут, а здесь нам повезло.

Желтый старый бархат пачкался кукурузным соком. Руди щедро натолкала кукурузных зерен в картонную корзинку, рядом с тряпичными орехами.

– А где же твое спасибо? Ах, уже сказала?!

Погладила белку между ушей. Подергала за хвост. Сунула под куртку, за пазуху. Прошла в ту комнату, где она пила вино. Вина нигде не было. Ни там, ни сям.

– Что за черт! Не приснилось же! Я даже опьянела!

Ни одной бутылки. Ни полной; ни початой.

Мороз пробежал по коже. А может, это ледяной ветер дунул в руины.

Руди наклонялась, швыряла ноты, бросала мячи и мясорубки, расшвыривала подсвечники и клубки шерсти, журналы и кофты, портфели и ползунки. Вино исчезло! Вина не было больше.

– И не будет больше никогда, – сказала она себе и белке.

Некогда было думать, кто его взял. Она остановилась посреди комнаты и закрыла глаза. Вещи стали кружиться вокруг нее, водили хоровод, как вокруг елки. Она и была елка, и золотая звезда у елки на макушке, и дитя под елкой, и все это было до войны, и вот оно, такое любимое Рождество, и она сама лепит свечи из душистого воска, и залиvisto смеется: «Папочка, давай повесим на елку настоящую рыбку, ну, которую ты поймал в ручье!» – а мать ворчит: рыба протухнет и завоняет, никто не вешает на елку ни рыбу, ни мясо, – и подходит на кухне огромный, величиной с дачный стол, пирог с вареньем, и вот черная елка тянет к ней растопыренные колючие грозные лапы, а они на деле нежные и мягкие, как мамины руки, и вот они с папой осторожно подкрадываются к этим тяжелым чернозеленым лапам и навешивают на них ослепительные шары и звонкие бубенчики, накручивают медную проволоку, на конце ее то картонный подосиновик, то стеклянный фонарик, пристегивают плоских картонных медведей и ежей, а вот золотые часы, они показывают двенадцатый час, скоро Новый год, он уже идет, и что он с собой несет? – а вот домик, заснежена крыша, посыпана зеркальной крошкой, колкими блестками,

а вот шишка, она топырит чешую, она разбрасывает по гостиной золотые и серебряные орехи, такую шишечку надо на видное место, чтобы все гости ее видели, чтобы все восхищались, чтобы все ее трогали, все ей завидовали, все ее... любили... все...

– Белка, спляшем?

Руди взяла белку за передние лапки и стала с нею танцевать.

Женщина наклонялась то вправо, то влево; приседала и вскакивала; крутилась на цыпочках, и белка крутилась на ее вытянутых руках, и женщина хохотала, танцуя с игрушкой, в разрушенном навеки доме. Хохот переходил в издевку, потом в плач, потом в крик. Она поскользнулась на пыльном паркете и упала, и белка вырвалась из ее рук и тоже упала, откатилась в угол.

Белка сломала лапку.

Лапка осталась в руке Руди.

Руди глядела на оторванную картонную лапку, обтянутую дырявым бархатом, и не могла дышать – рыдания забили ей бронхи.

– О... а-о-о-о-о...

На ладони, одинокую и крошечную, она поднесла лапку к глазам. Рассматривала. Маленькая и изогнутая. Как зародыш в утробе матери.

– Зародыш. Червячок. Белочка, ты теперь калека.

Она поползла по полу к лежащей в углу, среди пыльного

хлама, белке.

Нащупала ее. Из дыры на месте отодранной лапы сыпались опилки.

– Дитяtko мое... Это все из-за меня. Прости меня. Прости мамочку.

Вытирала мокрое лицо, обильные слезы о бархатный беличий хвост.

– Я тебя вылечу. Ты будешь как прежде. Как новенькая. Сейчас... сейчас. Ты поверь мне. Мамочка может все. Все.

Где та комната, с ковром? А может, и ковер исчез так же, как вино?

Слепая от слез, она шла, ощупывая стены руками: нет под ладонью мягкого, ворсистого, нет ковра. Кто его сдернул? Время?

А может, она у себя дома, а дом есть, а ее нет?

А может, наоборот: она есть, а дом только приснился?

– Эй, дом. Ты снишься мне? Ах ты, подлец. Я-то тебе не снюсь. Ковер, вернись! Прилети обратно! И мы с белкой сядем на тебя... и тогда уже взвейся... покинь эти развалины...

Дом услышал ее. Подсунул ей под руку ковер. Она погладила ворс. Белка и лапка лежали у нее на груди, под рубахой. Она нащупала воткнутую в ковер иголку, вытащила нитку из кисти скатерти. Села, скрестив ноги, на продавленный диван. Пружины жалобно пропели новогоднюю песню.

Она мать, и она елка; она девочка, и она белка; она стару-

ха, и она иголка; она клубок, и время разматывает ее, и тянется нитка, и не хочет кончатся и рваться.

Повертела в руках лапку. Вздернула иглу вверх.

– Что, моя родная? Придется потерпеть. Больно, я знаю. Но ничего не поделаешь.

Положила белку на колени, дырка в туловище зияла, опилки сыпались золотым и грязным зерном. Пришивала лапу, коротко и жестко втыкая иглу в тусклый бархат; а потом вдруг, спохватившись, не вонзала ее наотмашь, а вводила в ткань бережно и боязливо, шепча:

– Ну все, все... тише, тише... совсем немного осталось...

Стежок за стежком. Петля за петлей. Туго стянуть. Еще шов наложить. Еще и еще. Рана затягивается. Время рубцуется. Смерть зарастает. Игрушка рождается. Ее надо полить мертвой водой. И не будет видно грубого нитяного шва. Потом побрызгать водою живой. И что будет?

А ничего. Останется бархат, и картон, и суровая нить.

Но белка, белка откроет глаза. И улыбнется ей.

– Все! Лапка твоя живая!

Руди взяла пришитую лапу и помахала ею сама себе.

Нет, это белка махала ей. Она махала ей сама.

И это белка сама потянулась к ней, вытянула мордочку, ища носом и ртом ее щеку; сама толкнула ее лапами, сама взобралась ей на грудь, сама уткнулась холодным носиком ей в шею; и она прижимала белку к себе, всхлипывая, снова и снова целуя ее, обливая слезами.

– Вот ты и здорова, дитяtko. Здорова и цeлa. Все как прежде.

«Все как прежде уже не будет. Но она не должна знать этого».

И белка благодарно обнимала ее лапками, и ласкала ее взмахами теплого хвоста, и тепло, сопя, дышала ей в сгиб шеи за ухом, под спутанными волосами.

И тут в сохранившееся оконное стекло стукнули.

Руди повернула заплаканное лицо к окну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.